

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН

ВИКТОР — ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ

ЧАСТЬ III

СВЯТОЕ СЕРЕБРО

ИЛЬЯ КАЛИНИН

18+

Илья Калинин

Виктор — Отставной Солдат (Часть III) Святое серебро

«Автор»
2026

Калинин И.

Виктор — Отставной Солдат (Часть III) Святое серебро /
И. Калинин — «Автор», 2026

Сорок дней — от Рождества до Сретения, дня, когда в епископском Штальберге платят по векселям. Виктор Скорев, бывший спецназовец в теле отставного солдата, перешёл межу на Ильме объявленным вне мира — и сразу узнал, что за межой он не свободен. Бумага, которой его люди вывели его из тюрьмы, велела «сдать его людям епископа», и хозяин подписи признал подделку своей. Консистория даёт ему охранную грамоту до Сретения. А потом обещает поговорить о том, кто он такой.Его тетради покупают четверо: официал консистории, банкир, человек императорского штатгальтера и тот, кто платит новой монетой. Каждый врёт, зачем. Убить его хотят двое. А кто-то третий его бережёт, и это страшнее всего.Это роман о цене имени. Голову здесь покупают, святого продают на вес, подпись подделывают, а имя можно надеть, как чужой плащ. На Сретение молодой граф должен преклонить колено в соборе, а Скорев — доказать суду, что он тот, кем себя называет. Магии нет. Есть уксус, счёт, подлог и арбалет.

© Калинин И., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Сдачи не надо 5
Глава вторая. Именующий себя 17
Глава третья. Невинные 27
Глава четвёртая. Три гвоздя 38
Глава пятая. Вода и нитка 48
Глава шестая. Без имени 58
Конец ознакомительного фрагмента. 61

Илья Калинин
Виктор — Отставной Солдат (Часть III) Святое серебро

Глава первая. Сдачи не надо

Пальцы Клещ прижёг на первом привале.

Привал был в полумиле за взгорком, у дороги, в ельнике, где снег лежал не так глубоко. Пауль стащил с телеги охапку соломы, Бенно наломал сушняка, Тиль высек огонь — и, пока огонь разгорался, Клещ сидел на камне, держал на коленях свой нож и смотрел на Скорева.

— Сымай, — сказал он.

Скорев размотал Тилеву рубаху. Рубаха присохла. Он отдирал её по нитке, одной правой, и, когда отодрал, все посмотрели — даже Штиль со своего сундука.

На левой руке было три пальца. Большой, указательный, средний. Там, где был безымянный, и там, где был мизинец, — два обрубка, неровных, как обрубают ветку не топором, а тупой пилой. Из обрубков сочилось. Не сильно. Но сочилось.

— Липпольд резал, — сказал Клещ. — Липпольд режет чисто, когда стоит. А когда падает — не чисто.

Он сунул нож в огонь. Держал долго. Скорев смотрел, как синеет лезвие.

— Будет больно, — сказал Клещ.

— Знаю.

— Ты не знаешь. Ты думаешь, что знаешь. — Клещ вынул нож, посмотрел на него, сплюнул на лезвие; плевок зашипел. — Под Реттенбахом мне так ногу закрывали. Ногу, вот эту, которой нет. Я тогда тоже думал, что знаю.

— И как?

— Узнал. — Он кивнул Бернту. — Держи его.

Бернт взял Скорева за плечи сзади. Тиль — за локоть. Клещ взял левую руку за запястье, положил на колено, как кладут на плаху, — и приложил нож.

Запахло.

Скорев не закричал. Он заранее знал, что не закричит, — не потому, что такой твёрдый, а потому, что горло сорвано и кричать нечем. Из горла вышло что-то вроде кашля. Потом второй раз — на второй обрубок. Потом он сидел и смотрел в огонь, и огонь был зелёный и плыл.

— Всё, — сказал Клещ. — Теперь не загниёт. Может быть.

— Может быть, — сказал Скорев.

— А ты как хотел? Чтобы точно? — Клещ вытер нож о снег. — Точно — только в земле.

Каспар подал тряпку, чистую, из своего мешка, — у Каспара всегда было чистое, неизвестно откуда. Скорев замотал руку сам. Потом долго не мог взять ложку. Пауль сварил в котелке ячменя на сале, все ели, а он держал ложку правой и смотрел на левую, на три пальца в тряпке, и думал, что теперь меч придётся держать только одной. Совсем одной. Левая и до того почти не служила — шесть колец из предплечья, клинок Липпольда по плечу. Теперь она не служила совсем.

«Половина человека, — подумал он. — Половина руки, половина горла, шея не поворачивается. А идёт в Штальберг продавать бумаги, за которые убили шестнадцать человек».

Он доел ячмень. Шея не поворачивалась, поэтому, чтобы посмотреть на людей, ему приходилось поворачиваться всем телом, как волку. Он повернулся.

Люди сидели вокруг огня. Клещ — на камне, нога вытянута, костыль с шипом поперёк колен. Каспар — на корточках, у самого огня, грел руки. Ханс — на телеге, с арбалетом на коленях; он и ел, не выпуская ложа. Клаус — рядом с ним, на своём ольховом костыле. Ханно — чуть в стороне, у ели, с собакой; собака лежала, положив морду ему на сапог. Бернт. Тиль. Флориан, вытянув подвёрнутую ногу. Пауль у котла. Бенно — с порезанным боком, морщась. И Штиль на сундуке, в лисьей шубе, со связанными спереди руками; ложку ему Пауль совал в рот сам.

Тринадцать. С собакой — четырнадцать.

— Куда, экселенц? — спросил Каспар.

— В Штальберг.

— Это я знаю. — Каспар подул на пальцы. — Я про то, куда сегодня. До Штальберга два дня. Сегодня — куда?

— Туда, где есть крыша и нет погони.

— Погоня не перейдёт, — сказал Бернт. — Капитан сказал: война с епископом.

— Капитан сказал — ландфогт за это вешает, — сказал Скорев. — Ландфогт вешает тех, кто перешёл с оружием и со знаменем. А кто перешёл без знамени, ночью, по двое, — того ландфогт не знает. Тот сам по себе.

Бернт помолчал.

— Это верно, — сказал он. — У нас в роте так и говорили. Знамя — это когда платят. А без знамени — это когда сам.

— Вот, — сказал Скорев. — Поэтому — крыша. Стены. И чтобы двери на брус.

Он встал. Колено держало.

Они поехали дальше.

Дорога шла на юг между двумя стенами ельника, белая, наезженная санями: по ней возили соль, это было видно — в колеях белели крупинки, просыпанные с возов, и снег по краям был не белый, а сероватый, как бывает у дорог, по которым ездят часто. Соль из Кроненфельда шла на Штальберг. Весь Кроненфельд жил тем, что по этой дороге ездило.

Через час лес кончился, и они выехали на поле.

Скорев остановил Хвата.

Земля была другая. Он не сразу понял, в чём дело, — смотрел и не понимал. Потом понял.

Земля была целая.

Справа от дороги, на взгорке, стояла деревня — дворов на тридцать. И над всеми тридцатью шёл дым. Над всеми. Он посчитал: тридцать один дым, считая кузню. Ни одной пустой избы с провалившейся крышей. Ни одного чёрного пятна, где был двор, а стал горелый столб. У околицы на жердях сушились сети — значит, есть река и есть кому ловить. Церковь — каменная, с целой колокольней, и колокол на ней звонил: к вечерне, рождественской. Люди шли к церкви. Он посмотрел: бабы в платках, мужики в шапках, дети — много детей. Дети бегали по снегу и кидались снегом.

На Дальхаймской стороне он не видел, чтобы дети кидались снегом. Ни разу за два месяца.

— Язва сюда не дошла, — сказал Клещ. Он тоже смотрел. — И волки не дошли.

— Волки дошли до Ильмы, — сказал Бернт. — Дальше — нельзя было. Йост говорил: за Ильмой не трогать. Там епископ. С епископом — только по уговору.

— А был уговор?

Бернт пожал плечами.

— Йост говорил — был. С кем — не говорил.

У дороги, на развилке, стоял межевой камень. Невысокий, по колено, обтёсанный. На камне был высечен ключ — грубо, но понятно. Такой же, как на щите посреди моста. Дальше, через версту, — ещё камень. И ещё.

«Хозяин считает свою землю, — подумал Скорев. — Это хорошо. Кто считает — с тем можно говорить».

В деревне он не остановился. Он купил у мужика на околице каравай хлеба и три головки чесноку и спросил, сколько. Мужик посмотрел на его руку, на шов через щёку, на волчью шкуру — и сказал: четыре крейцера.

В Кроненфельде такой каравай стоил крейцер. В Вельде — полкрейцера.

Скорев заплатил четыре. Мужик удивился, что не торгуются, и, когда они отъехали, долго смотрел вслед.

— Тут всё вчетверо, — сказал Пауль, который считал вместе с ним. — Хлеб — вчетверо.

— Тут люди живые, — сказал Скорев. — Живые дорого стоят.

К сумеркам они пришли в Мостовое.

Мостовое было село при дороге, большое, в две улицы, и в середине его стоял каменный дом с высокой крышей, а над крышей — шест, а на шесте — мокрое красное полотнище, которое ветер иногда разворачивал, и тогда на нём был виден ключ. Перед домом стояла рогатка — бревно на козлах — и весы под навесом, большие, на цепях, для возов.

Мытня.

Здесь соль, которая шла из Кроненфельда в Штальберг, платила епископу. Скорев посмотрел на весы, на рогатку, на дом — и понял, что всё это стоит дороже, чем вся Вельде с замком и с бароном.

Из мытни было слышно пение. Нестройное, громкое, с притопом. В окнах горел свет. У коновязи стояло полтора десятка коней — хороших, под одинаковыми попонами, красными.

— Стража, — сказал Клещ. — Святки гуляют.

— Сколько?

— По коням — двенадцать. Тринадцать. Один, видно, офицерский — вон тот, серый.

Скорев посмотрел на серого.

Рогатка была поднята. При ней никого не было: тот, кто должен был стоять, тоже, видно, пел. Скорев проехал мимо мытни шагом, не останавливаясь, и никто не вышел и не окликнул. На Рождество, после обедни, в мытне пили.

Корчма стояла на другом конце села, у выезда, — большая, с двором, с сараем и конюшней. Над воротами висела доска, а на доске был нарисован тот же ключ, только кривее, и подписано: «Под ключом». Хозяин вышел сам — толстый, лысый, в кожаном переднике, с руками, красными от горячей воды.

— Добрые люди, — сказал он и посмотрел на телегу, на коней, на Клеща, на его одну ногу. И что-то в лице у него стало не так.

Скорев это увидел.

— Добрые, — сказал он. — Крыша нужна. Нам и коням. На одну ночь.

— Крыша есть, — сказал хозяин. — Для коней — конюшня. Для людей… — Он замялся. — Для людей — изба тесная, гостей много, Рождество. Сарай есть. Сарай тёплый, с сеном.

— Сарай годится. Сколько?

Хозяин назвал. Скорев не стал торговаться. Он слез с Хвата, держа левую руку на весу, отдал повод Тилю и подошёл к хозяину близко. Так близко, что тот отступил на шаг.

— Ты на одноногого смотрел, — сказал Скорев. — Дольше, чем на прочих. Почему?

Хозяин молчал. Руки у него были красные, мокрые. Он вытер их о передник.

— Кто спрашивал? — сказал Скорев. — Про одноногого и про телегу.

— Никто…

Скорев достал из пояса талер — старый, свой, полновесный, с толстым господином на одной стороне — и положил хозяину в мокрую красную ладонь.

— Двое, — сказал хозяин сразу и тихо. — Днём. Из-за Ильмы, по говору. Один чернявый, с серьгой. Другой — нос ломаный. Спрашивали: не проезжала ли телега с одноногим, с мальчишками, с бородатым на коне без двух пальцев… Про пальцы, господин, они не говорили, — поправился он, — про пальцы я сам вижу. Говорили — с бородатым, со шрамом на лице. Обещали полталера тому, кто скажет, где встанете на ночь.

— Где они сейчас?

— Ушли. На тот конец, к кузне. Там у кузнеца брат — пускает на ночь, кто платит.

— Одни?

Хозяин помялся.

— Утром одни были, — сказал он. — А к обеду с ними наши видели… Мостовских. Пятерых. Возчики бывшие, гулящие. Которых гильдия не берёт.

Скорев кивнул.

Он достал второй талер. Нет — не талер. Он подумал и достал полталера. Положил рядом с первым.

— Это за то, что ты сказал мне, — сказал он про талер. — А это — за то, что ты скажешь им. Пойдёшь к кузне, как стемнеет. Скажешь: встали в сарае. Мальчишки в избе, а старшие в сарае, при телеге. Пьют. Скажешь: пьют сильно, Рождество.

Хозяин смотрел на полталера.

— Господин… А если у меня в сарае…

— Сарай я тебе оплачу, — сказал Скорев. — И что сломаем — тоже. Иди.

Хозяин сжал деньги в кулаке и ушёл в дом.

Клещ подъехал ближе.

— Двое Липпольдовых, — сказал он. — Чернявый с серьгой — это Вит. Нос ломаный — Хенне. Те, что к лесу ушли на мосту. Навстречу погоне.

— Знаю.

— Чего они хотят? Липпольд утоп. Платить им некому.

— Липпольд перед мостом сказал: товар был не тот, — сказал Скорев. — Значит, настоящий — у нас. Они слышали. Они пришли за настоящим. Продать.

— Кому?

— Тому, кто даст больше. — Скорев посмотрел на телегу. — Липпольд их этому учил. Я Липпольда — этому учил.

Он постоял.

Потом сказал:

— Ханс. Клаус. Ханно.

Мальчишки подошли. Ханс — с арбалетом. Клаус — на костыле. Ханно — с собакой, которая шла за ним, как привязанная, хотя привязи не было.

Скорев смотрел на них.

Четырнадцать, двенадцать и семнадцать. Двенадцать зарубок на ложе, одна праща, один нож в левой руке. Три мальчишки, которые за сорок дней убили больше людей, чем иной ландскнехт за три похода.

— Бумаги, — сказал он. — Все. Тетради из-под сундука — в рубахе Лукаса, как лежат. Ведомость. Печатку — Каспар, дай им печатку. Слова Барди, слова Кремпа, слова Штиля. Всё.

Каспар не спросил зачем. Он слез с мула, полез под телегу, под солому, — и через минуту вынес свёрток в рубахе. Потом расстегнул ворот и вынул из-за пазухи медную печатку на шнурке. Подержал на ладони, посмотрел на неё — так, как смотрят на вещь, с которой расставаться не хочется, — и отдал Ханно.

— Списки — оставь себе, — сказал Скорев. — Свои. Всё, что ты переписывал для себя.

— Мои — при мне, — сказал Каспар. — Они всегда при мне.

Скорев повернулся к мальчишкам — всем телом, как волк.

— Пойдёте ночью. Лесом, не дорогой. Ханно ведёт. На юг. До Штальберга по дороге полтора дня — лесом будет три, пусть три. В город не входить. У Речных ворот, снаружи, ждать. На третий день я там буду. Или кто-то из наших. Если на пятый никого — значит, нас нет, и тогда…

Он остановился.

— Тогда — что? — спросил Ханс.

— Тогда отнесёте всё в консисторию. Скажете: от Скорефа. Отдадите в руки. И уйдёте.

— А деньги? — сказал Клаус.

— Какие деньги?

— Если вас нет, — сказал Клаус, глядя на него снизу, — кто нам заплатит?

Клещ хмыкнул.

— Каспар вписан, — сказал Скорев. — Каспар заплатит. Если и Каспара нет — возьмите сундук.

— Сундук же у вас.

— Значит, сундука тоже не будет, — сказал Скорев. — Тогда — ничего не будет. Тогда идите к матери Кёлеров на Кожевенную. Она вас покормит. Она всех кормит.

Клаус подумал.

— Ладно, — сказал он. — Вы будете.

Ханно стоял молча. Собака сидела у его ноги. Ханно взял свёрток, перекинул на ремне за спину, под кожух. Печатку повесил на шею, под рубаху, к нательному кресту.

— Дорогу найду, — сказал он. — Дед в эти места ходил. Говорил — тут лес чистый, без болот. Зимой — как по полу.

— Костра не жечь. В деревни не заходить.

— Знаю.

— Если встретите кого — вы трое сироты, идёте в Штальберг, в Шпиталь, на прокорм. Это правда. Сироты и есть.

— Знаю, — сказал Ханно.

Скорев посмотрел на Ханса.

Ханс стоял с арбалетом и смотрел на него, и у Ханса было лицо человека, которого уводят с поля, где будет драка. Ханс за сорок дней привык к драке, как привыкают к хлебу.

— Ты не на прогулку, — сказал Скорев. — Ты при бумагах. Это важнее. Если что — первый болт твой. Ты у них один стрелок. Понял?

— Понял.

— Сколько болтов?

— Девять.

— Мало. — Скорев отстегнул от своего седла колчан. Там было ещё одиннадцать. — На.

Ханс взял.

Они ушли, когда стемнело совсем. Ушли не через ворота, а через огороды, за сараем, к лесу, который начинался в трёхстах шагах за селом. Скорев стоял у сарая и смотрел, как три тени и одна маленькая, собачья, уходят по снегу к чёрной стене ельника. Луны не было. Снег светил сам, как светит всегда зимой, — немного, но хватает.

Потом тени ушли в ельник, и их не стало.

«Сорок дней назад я вёз их калеками, — подумал Скорев. — Теперь отправляю одних с тем, за что убили шестнадцать человек. И они дойдут. Скорее дойдут, чем мы».

Он вернулся к сараю.

Сарай был большой, рубленый, с двумя воротами — передние на двор, задние на огороды. Внутри пахло сеном и мышами. Справа — сеновал, под самую крышу, слева — пустые ясли,

в середине — место, где обычно ставили воз. Свет давал один фонарь, который хозяин принёс и повесил на крюк.

Скорев обошёл сарай кругом. Два раза. Внутри и снаружи.

Потом сказал:

— Телегу — сюда. Поперёк. Задом к задним воротам.

Телегу вкатили. Сундук оставили на ней — сверху, на виду, накрытый рогожей. Под рогожу Пауль подложил мешок с овсом, чтобы горбом выглядело больше.

— Фонарь оставить, — сказал Скорев. — Прикрутить. Чтобы горел — но мало. Чтобы видно было телегу, а углов — не видно.

Тиль убавил огонь.

— Клещ — наверх. На сено. Над задними воротами.

Клещ посмотрел на сеновал. Потом на свою ногу.

— Как?

— Бернт подсадит.

Бернт подсадил. Клещ лёг на сено, у самого края, костыль положил рядом, шипом вперёд. Сверху ему было видно и задние ворота, и телегу.

— Бернт — у передних. Внутри, за створкой. Тиль — у телеги, справа, в яслях. Копьё — по низу. Пауль — у телеги, слева. Флориан…

Флориан сидел на соломе, вытянув ногу.

— Флориан — в углу, у передних, с Каспаром. Каспар, ты при Штиле. Штиль — в угол, лицом к стене. Если Штиль крикнет — Каспар, режь.

Штиль посмотрел на Каспара. Каспар посмотрел на Штиля.

— Он не крикнет, — сказал Каспар ласково. — Правда, Отмар? Ты же у нас тихий.

Штиль ничего не сказал. Отвернулся к стене сам.

— Бенно?

— Я могу, — сказал Бенно. Он держался за бок.

— Можешь — бери вилы. Стой за Тилем.

Скорев сел на ящик у яслей, в тени, так, чтобы видеть обе пары ворот. Положил меч на колени. Правую руку — на рукоять. Левую — в тряпке — на бедро.

— Огня больше не будет, — сказал он. — Ждём.

Ждали долго.

В селе пели. Потом перестали петь. Потом где-то лаяла собака — не их, чужая — и тоже перестала. Скорев сидел и слушал, как сено шуршит над головой, когда Клещ переворачивается. Как дышит Бернт за створкой. Как Флориан в углу трёт ногу.

В избе корчмы погасили свет. Потом погасили у кузни — он видел это в щель.

Он ждал и думал о том, что сжатия нет.

Сжатия не было. Значит, это не опасность. Значит, это то, что он знает. Он знал: придут двое Липпольдовых и пятеро мостовских — семеро; придут сзади, с огородов, потому что спереди двор и собака хозяина; придут, когда в корчме погаснет свет; войдут в задние ворота, потому что задние ворота на ночь закладывают изнутри на деревянный засов, а засов хозяин нынче не заложил, потому что ему велели не закладывать. Он сам ему велел.

Дар молчал о том, что он знал.

Он подумал, что это, может быть, и есть самое страшное в даре — что он молчит именно тогда, когда ты всё знаешь. А когда ты всё знаешь, ты ошибаешься.

Скрипнул снег.

Не у ворот. Дальше. На огородах. Потом ещё. Много шагов — не в ногу, кто как.

Скорев встал. Беззвучно. Колено хрустнуло — он замер — нет, не слышно.

Шаги подошли к задним воротам.

Тишина.

Потом створка задних ворот поехала внутрь. Медленно, тяжело, со скрипом, который снаружи, наверно, казался тихим. В щель потянуло холодом. В щели — тёмное, и на тёмном — ещё темнее: люди.

Первый вошёл боком, с ножом. Огляделся — и увидел телегу. Сундук под рогожей. Фонарь, едва горящий. И больше ничего: углы были чёрные.

— Здесь, — сказал он шёпотом. — Спят.

Второй, третий. Четвёртый. Они входили по одному, тесно, и вставали у телеги, и смотрели на сундук. Скорев считал. Пятый, шестой. Шестой был чернявый, с серьгой, — свет фонаря блеснул на серьге. Вит.

Седьмой остался в воротах.

— Хенне, — шепнул Вит. — Держи ворота.

Значит, седьмой — Хенне.

— Где они? — шепнул кто-то из мостовских.

— В избе мальчишки, — шепнул другой. — А эти пьяные, хозяин сказал, где-то тут на сене.

Он поднял голову к сеновалу.

Клещ сверху ударил его в лицо шипом.

Удар был короткий, сверху вниз, всем весом, — так, как Клещ бил с коня. Шип вошёл под глаз. Мостовской даже не крикнул — опрокинулся назад, на того, кто стоял за ним.

— Засада! — заорал Вит.

Тиль из яслей ударил копьём низом — в колено, как его учили, — и тот, кого он ударил, упал на четвереньки, и Бенно воткнул ему вилы в спину.

Пауль выскочил из-за телеги слева и ударил дубиной по руке с ножом — Скорев услышал, как хрустнуло.

А Скорев пошёл на Вита.

Он шёл через тёмный сарай, и в правой руке у него был меч, а левой у него не было. Он это понял, когда Вит развернулся к нему и ударил сверху — тесаком, наотмашь, — и Скорев принял удар на клинок, и клинок повело, потому что держала одна рука, и вторая, которая всю жизнь подпирала, — сейчас висела в тряпке. Клинок повело вниз и вбок. Тесак Вита соскользнул по клинку и чиркнул по горжету.

Горжет звякнул.

«Второй раз, — подумал Скорев. — Второй раз эта железка».

Вит замахнулся снова. Скорев не стал принимать. Он отступил — назад и вбок, к яслям, — и Вит, шагнув за ним, оказался в свете фонаря. И Скорев ударил его не мечом. Он ударил его эфесом, в зубы, коротко, снизу — как бьют в кабаке, а не как учил лейтенант Хагедорн. Вит отлетел к телеге.

Сзади, в воротах, Хенне развернулся и побежал. Но в задних воротах снаружи стоял Бернт.

Бернт ушёл из-за передней створки, ещё когда первый вошёл, — вышел через передние ворота и обошёл сарай кругом по снегу, как Скорев ему велел ещё днём: «Когда войдут — выходи и иди к задним. Кто побежит — твой». Хенне выбежал прямо на него. Бернт ударил его тесаком — тем самым тесаком, с которым он когда-то стоял на дороге у Вельде вместе с Бодо и Тилем, — по шее.

Хенне упал в снег.

Внутри дрались. Двое мостовских, которые остались на ногах, — один с переломанной рукой, другой целый, — прижались спинами к телеге, и тот, что целый, махал топором, и к нему не могли подступиться. Тиль кольнул копьём, промахнулся. Флориан из угла бросил в него поленом — попал в плечо. Мостовской выронил топор, нагнулся — и Клещ, свесившись с сеновала, ударил его шипом в затылок.

Тот, что со сломанной рукой, сел на пол и поднял целую руку.

— Не надо, — сказал он. — Братцы. Не надо.

Его не стали.

А Вит — Вит был у телеги, у задних ворот, с разбитым ртом, на коленях. И Скорев шёл к нему, а Вит вдруг вскочил и прыгнул — не на Скорева, а мимо, в ворота, через тело Хенне, — и Бернт снаружи ударил, и не попал, потому что Вит упал в снег сам, нарочно, и покатился, и вскочил, и побежал по огородам.

Бернт побежал за ним.

— Стой! — крикнул Скорев. Сипло. Горло не пустило громче.

Бернт остановился.

— Пусть бежит.

Бернт стоял в снегу, тяжело дыша, и смотрел, как Вит бежит к лесу, к той же стене ельника, в которую три часа назад ушли мальчишки.

Нет. Не к той же. Левее. Мальчишки ушли правее. Скорев смотрел и считал шаги: левее — шагов на двести.

— Почему? — сказал Бернт, вернувшись.

— Потому что ты один, а он в лесу. В лесу ты его не возьмёшь, а он тебя — возьмёт. — Скорев прислонился к стене сарая. Его трясло. Не от страха. От руки. — И потому что он побежит туда, где ему заплатят. А я хочу знать — куда.

Он посчитал.

Шестеро. Двое Липпольдовых — одного нет, ушёл. Пятеро мостовских — четверо лежат. Один сидит со сломанной рукой и просит не надо. Хенне — в снегу, с шеей.

Нет. Не шестеро. Он пересчитал. Шип Клеща — один. Копьё Тиля и вилы Бенно — один. Шип Клеща второй раз — один. Хенне — Бернт. Это четверо. И ещё один: тот, которому Пауль сломал дубиной руку, — не этот, что сидит, а другой, первый, — Пауль бил его второй раз, когда тот поднимал нож левой, и бил долго.

Пятеро.

И ещё — Вит, когда падал в снег, налетел на того, на первого, которого Клещ ударил под глаз. Тот был ещё жив. Скорев видел: он лежал у ворот и шевелился, и Бернт, проходя, коротко и без злости ткнул его тесаком. Так, как добивают коня.

Шестеро.

Он не стал считать дальше. Чужих считает город. А город был далеко.

— Тиль, — сказал он. — Глянь, кто живой у ворот. Пауль — свет. Каспар…

Каспар стоял в углу, над Штилем. Штиль стоял лицом к стене. Он так и простоял всю драку лицом к стене, и спина у него была мокрая от пота, хотя в сарае было холодно.

— Он не крикнул, — сказал Каспар. — Я ж говорил. Отмар — тихий.

Скорев подошёл к сидящему мостовскому. Тот держал сломанную руку на коленях и смотрел снизу. Мужик, лет сорока, с бородой, в которой застряла солома. Возчик. Пахнет конским потом и брагой.

— За что? — спросил Скорев.

— За телегу, господин. — Мостовской сглотнул. — Чернявый сказал — в телеге книги. Он сказал, за книги в Штальберге дают сто талеров. Он сказал — нам по десять. Каждому. По десять талеров, господин. Я за год столько не вожу.

— А что в книгах — он сказал?

— Нет, господин. Он сказал — книги, и всё. Сказал — грамотеи разберут. Он сказал — его старшой утоп из-за этих книг, на Ильме, сегодня, и что ему за старшого должны.

— Кто должен?

— Не сказал, господин.

Скорев посмотрел на сундук. Сундук стоял на телеге, под рогожей, с мешком овса под ней. Никто из семерых до него не дошёл.

В сундуке было восемьдесят талеров общих и семь свёртков по пять — тридцать пять новеньких, под свинцовой пломбой. И ни одной книги.

«Сто, — подумал он. — В Кроненфельде за них давали сто, потом двести, потом Мерк сказал — триста. А мостовские возчики в кабаке у кузни за ночь сговорились отдать их за сто. Дешевеют, когда едут на юг».

Он отпустил мостовского. Тиль вывел его за ворота и дал пинка. Мостовской побежал по улице, придерживая руку, и не оглянулся.

Хозяин пришёл, когда всё кончилось. Пришёл с фонарём, бледный, в одном переднике поверх рубахи, и встал в передних воротах, и посмотрел. Пятеро на полу. Шестой — Хенне — за задними воротами, в снегу.

— Господи, — сказал хозяин. — Господи Иисусе. В Рождество.

— Сарай я тебе оплачу, — сказал Скорев. — Как договаривались. Мёртвых убери к утру, им тут лежать незачем. Если кто спросит — разбойники пришли грабить проезжих. Это правда.

— А кто… кто будет хоронить?

— Мытня. Они за этим здесь стоят. — Скорев достал ещё полталера. — Это — на попа. Чтобы отпел. Рождество всё-таки.

Хозяин взял.

Ночь прошла без сна. Скорев сидел на ящике у яслей, держал руку на бедре и смотрел на ворота. Под утро он задремал — и проснулся оттого, что собака лает.

Собака была не их. Их собака не лаяла никогда.

Лаяли собаки по всему селу — одна, другая, третья. И сквозь лай — топот. Много коней.

Скорев встал.

В передних воротах стоял Бернт.

— Красные, — сказал Бернт. — Те, что в мытне. Двенадцать. И офицер на сером.

Скорев вышел во двор.

Утро было серое, тихое, снег перестал. Во дворе корчмы стояли кони — гнедые, рыжие, под красными попонами, — и на конях сидели люди в красных плащах поверх кольчуг, с копьями. Лица у них были помятые, с похмелья, но копья держали ровно. Впереди, на сером, — офицер. Молодой, лет тридцати, без бороды, с тяжёлым подбородком и маленькими светлыми глазами, близко посаженными. На груди у него, поверх плаща, — бляха. Ключ.

Офицер смотрел на Скорева. Потом — на Клеща, который вышел следом на костыле. Потом — на телегу, которую Пауль выкатил из сарая. Потом — на сани, которые хозяин с работником тащили к воротам, и на то, что лежало в санях.

— Это что? — спросил офицер.

— Разбойники, — сказал Скорев. — Ночью приходили.

— Сколько?

— Семеро. Шестеро здесь. Один ушёл.

Офицер посмотрел на сани. Пересчитал — Скорев видел, как он считает, шевеля губами.

— Шестеро, — сказал он. — Ваша работа?

— Наша.

— Чем?

— Чем было.

Офицер помолчал. Потом полез за пазуху и достал бумагу. Сложенную вчетверо, с красным воском на шнуре. Развернул. Посмотрел на неё — не читая, а сверяясь, как сверяются с приметами.

— Одноногий, — сказал он. — Есть. Бородатый, шрам через лицо, пальцы… про пальцы не написано. Телега. Человек связанный.

Он поднял глаза.

— Капитан стражи его преосвященства Либорий Кранц, — сказал он. — Стою при мытне на святки. — Он помолчал и прочёл, медленно, по слогам, как читают солдаты, которых учили грамоте поздно: — «Арестант Виктор Скореф, именующий себя так».

Скорев молчал.

Он слышал эти слова. Он слышал их в подвале Фогтея, в ночь на Рождество, когда их читал другой капитан, при свете фонаря, из другой бумаги. Он слышал их раньше, чем их прочёл тот капитан. Он слышал, как Каспар их составлял — вслух, шёпотом, перебирая слова, как перебирают монеты: «именующего себя так» — это, экселенц, у них так пишут, амтман сам так пишет, я в повестке видел.

— Это я, — сказал Скорев.

— Вчера к вечеру, — сказал Кранц, — через мост прискакал гонец. Фогтея. Из Кроненфельда, от господина ландфогта Дальхаймского. Письмо к консистории его преосвященства. И список с приказа.

Он развернул второй лист. Этот был без воска — список.

— «Приказ господина амтмана, — прочёл он, — капитану Хагедорну: арестанта Виктора Скорефа, именующего себя так, доставить под стражей в Штальберг, в консисторию его преосвященства… Довести до межи под стражей Фогтея, а за межой сдать людям епископа». — Он поднял глаза. — А при письме — слово господина ландфогта, своей рукой: приказ подлинный. Арестант до межи доведён. За межой от передачи уклонился. Его светлость просит консисторию принять арестанта по приказу. Со всем, что при нём. — Кранц сверился. — «И с теми, кто при нём, ибо и они могут быть спрошены».

Каспар стоял за Скоревым. Скорев не мог повернуть шею, но он знал, какое у Каспара сейчас лицо. Он сам чувствовал у себя это лицо.

«Подлинный, — подумал он. — Ландфогт сказал: подлинный».

Погоня кричала у моста: подложная бумага. Двенадцать человек кричали. Хагедорн слышал. Сторож слышал. А ландфогт вечером сел и написал своей рукой: подлинный.

Ландфогт не пишет своей рукой. Так говорили в Кроненфельде.

Значит, это было очень нужно.

Он смотрел на красный воск на бумаге Кранца и думал, — быстро, холодно, — зачем.

Подложный приказ выпустил его из подвала. Подложный приказ довёл его до межи. За межой подложный приказ должен был кончиться — бумага, она и есть бумага: довёл — и всё. Но если хозяин подписи говорит, что подпись его, — бумага не кончается. Бумага идёт дальше. «Доставить в консисторию». «Со всем, что при нём». «И с теми, кто при нём».

Каспар писал эти слова, чтобы их вывели. А ландфогт взял эти слова и сделал так, что их привели.

Привели — куда ему было надо. В консисторию. Со всем, что при них.

«Он не стал рвать бумагу, — подумал Скорев. — Он её подписал. Подпись, сказал Хагедорн, есть подпись. Хагедорн знал, что говорил».

— Бумага, которой мы вышли, — сказал он вслух, сипло и негромко, — нас и привела.

— Что? — сказал Кранц.

— Ничего. Я спрашиваю: в цепях повезёшь?

Кранц посмотрел на него. На руку. На шов. На горжет с вмятиной. На волчью шкуру.

— Про цепи не сказано, — сказал он. — Сказано: принять. Принять — значит, вы едете со мной, я еду с вами. Оружие при вас — пока едем. В городе — сдадите, там своё. — Он помолчал. — Я, господин Скореф, не судья. Я при мытне стою. Мне велено — я везу. А что там с вами будет — это консистория. Я туда не хожу. Там без меня умных много.

— Честно, — сказал Скорев.

— А мне врать незачем. — Кранц убрал бумагу. — Сколько вас?

Скорев посчитал вслух, чтобы Кранц слышал, как он считает:

— Я. Одноногий. Писарь. Пятеро моих. Связанный.

— Девять, — сказал Кранц. Он оглядел двор. — А мальчишки?

— Какие мальчишки?

— Хозяин сказал моему сержанту: с вами были мальчишки. Трое. И собака.

Скорев посмотрел на хозяина. Хозяин стоял у саней и смотрел в снег.

— Были, — сказал Скорев. — Ушли. Сироты, прибились по дороге. Ушли ночью, когда тут резали, — испугались. Я бы тоже ушёл.

Кранц подумал.

— В приказе про мальчишек не сказано, — сказал он наконец. — Сказано — с теми, кто при нём. А которые ушли — те не при нём.

Он сказал это без улыбки. Скорев посмотрел на его тяжёлый подбородок и маленькие глаза и подумал, что этот капитан, может быть, глупее Хагедорна, а может быть, и нет. Просто у этого не было дяди, который учил кого-то держать меч.

— Сундук, — сказал Кранц.

Пауль откинул рогожу. Кранц слез с серого, подошёл, открыл сундук. Посмотрел на серебро. На свёртки. Взял один свёрток, повертел, посмотрел на пломбу.

— Это что за знак?

— Амтмана Кроненфельдского, — сказал Скорев. — Жалованье. Его люди везли жалованье разбойникам, мы взяли.

Кранц положил свёрток назад, аккуратно, как взял.

— Записать, — сказал он через плечо своему сержанту, рыжему, широкому. — Сундук один, в нём серебро, считать будут в городе. Свёртков — семь, с пломбой. Кони — сколько коней?

— Четырнадцать, — сказал Скорев. — С мулом.

— Четырнадцать. Телега. Писарь связанный — один. — Кранц обернулся к Скореву. — Книги есть?

— Какие книги?

— В письме сказано: при арестанте бумаги. Тетради. — Кранц смотрел спокойно. — Велено принять.

— Бумаги — у писаря, — сказал Скорев.

Каспар вышел вперёд.

Он вышел, как выходил в суде в Гербштадте, наверное, — бочком, с поклоном, с ласковым лицом, — и расстегнул кожух, и достал из-за пазухи толстую пачку исписанных листов, перевязанную бечёвкой.

— Вот, господин капитан, — сказал он. — Всё, что есть. Извольте.

Кранц взял пачку. Повертел. Развязывать не стал.

— Я грамоте не учён, — сказал он. — Чтобы много. Записать: бумаги, пачка одна, взяты у писаря. — Он сунул пачку в седельную сумку. — В консистории разберут.

Каспар поклонился ещё раз.

Скорев знал, что в пачке. Списки. Те, что Каспар делал для себя — с мировой, с закладной, с людской тетради, с показаний, — его рукой, не кремповой. Слова без печатей. Копии без подлинников. Всё, что Каспар переписывал «для себя, мало ли».

Мало ли — пришло.

«Пусть читают, — подумал Скорев. — Пусть знают, что у меня есть. Чтобы искали подлинники. Пока ищут — разговаривают».

Кранц сел на серого.

— Ещё одно, — сказал он. — Скажу, раз уж вместе ехать. Утром мне возчик сказал — с моста. Сторож наш, мостовой, брат Тидеман. Нашли его. Под мостом. Под первым быком, где полынья. Во льду.

Он смотрел на Скорева.

Скорев смотрел на Кранца.

— Вчера ты ему за мост платил, — сказал Кранц. — Он вечером ко мне в мытню приходил — письмо принёс, которое гонец у него оставил. И хвастал. Мне хвастал, всем хвастал. Талер, говорит, дали за мостовщину. Новый. Говорит — я таких не видел. Говорит — сдачи, сказали, не надо.

Скорев молчал.

Он вспомнил, как сторож взял монету и поднял глаза. Тощий, старый, в монашеском плаще поверх тулупа. Это ж новый. Я таких не видел.

Я тоже не видел. До Кроненфельда.

— Пьяный был? — сказал Скорев.

— Тидеман? — Кранц покачал головой. — Тидеман не пил. Он мирянин при обители, обет давал. Он сорок лет на этом мосту. Сорок лет — и ни разу во льду не был.

Он тронул серого.

— Поехали, господин Скореф. Именующий себя так. До Штальберга полтора дня. Там умные — пусть они и думают.

Скорев сел на Хвата. Правой рукой. Левую положил на луку седла, в тряпке.

Сдачи не надо, сказал он вчера сторожу. Первый раз за сорок дней ему было не жалко денег.

Сторож взял его талер. А ночью кто-то взял сторожа.

Он ехал среди красных плащей по белой дороге на юг и думал о том, что монета, которую он отдал, чтобы пройти, — нашла себе дорогу сама. Как находят дорогу вода и кровь. Как бумага.

— Экселенц, — сказал Каспар тихо, подъехав на муле. — Это я «именующего себя» написал. Я. Своей рукой. То есть — его рукой. Вы помните?

— Помню.

— Я написал, чтобы похоже было. Чтобы как у них.

— Получилось, — сказал Скорев. — Похоже. Так похоже, что он подписал.

Каспар помолчал.

— Мне, экселенц, — сказал он, — за двенадцать лет при суде первый раз такое. Чтобы мою бумагу хозяин подписи сам признал. — Он подумал. — Это, если подумать, честь.

— Это, если подумать, петля, — сказал Скорев. — Только длинная. До Штальберга.

Каспар посмотрел на него круглыми светлыми глазами и ничего не ответил.

Впереди, на сером, ехал капитан Кранц и иногда оглядывался — пересчитывал, все ли тут. Девять. Четырнадцать коней. Телега. Сундук.

Мальчишек он не считал. Мальчишек в приказе не было.

Глава вторая. Именующий себя

Штальберг было видно за полдня.

Сначала — колокольню. Она стояла на краю неба, серая, тонкая, как гвоздь, вбитый в облако, и долго не росла: ехали, ехали, а она всё была с палец. Потом под колокольней появился холм. Потом на холме — стены. Потом под стенами — река, широкая, белая по краям и чёрная посредине, и над чёрным поднимался пар.

— Раума, — сказал Кранц, не оборачиваясь. — Не замерзает. Посредине — никогда. Течёт быстро.

Скорев смотрел.

Город сидел на холме, как наседка на яйцах: сверху — собор, тяжёлый, двубашенный, одна башня выше другой; вокруг собора — каменные дома под черепицей, тесно, плечом к плечу; от них вниз, к реке, сползали улицы, и чем ниже, тем дома были деревяннее и кривее, а у самой воды стояли уже не дома, а сараи, амбары, мостки, и у мостков в белом льду — плоты. Плоты были вмёрзшие, большие, из бревна в обхват, и на плотах стояли шалаши, и над шалашами шёл дым.

Стена обходила холм кругом. В стене — ворота. Кранц вёл к тем, что смотрели на север.

— Ильминские, — сказал он. — Отсюда дорога на Ильму. А те, — он показал рукой на восток, вниз, к реке, — Речные. А на той стороне — Мельничные, к Штромбергу. Только туда теперь никто не ездит.

— Почему?

— Мор, — сказал Кранц. — В Штромберге — мор. С осени.

Он сказал это так, как говорят про погоду.

У Ильминских ворот стояла стража — не красная, как у Кранца, а синяя, в кожаных шапках, с алебардами. Городская. Над воротами висел щит — не ключ, а что-то другое: башня, и над башней звезда. Город.

— Городские, — сказал Кранц. — Совет. Они ворота держат. Мы — собор. А мытня — река. — Он поморщился. — Тут, господин Скореф, три хозяина на одну гору. Привыкнете.

Синие посмотрели на красных. Красные — на синих. Синий старшой сказал: пошлина. Кранц сказал: епископское. Синий сказал: епископское — у собора, а тут ворота города. Кранц сказал: арестант консистории. Синий посмотрел на Скорева, на руку, на волчью шкуру, на Клеща, на телегу — и взял с каждого конного по два крейцера, с телеги четыре, а с арестанта — ничего, потому что арестант не платит. Скорев посчитал: тридцать два крейцера. Половина талера за то, чтобы его привезли под стражей туда, куда он и так ехал.

«Вчетверо, — подумал он. — Тут всё вчетверо. И сажают вчетверо дороже».

Они поднимались по улице вверх, к собору.

Улица была мощёная — булыжником, круглым, скользким, — и по краям текла вода, тёплая, с паром: из домов выплёскивали. Пахло дымом, хлебом, конским навозом и ещё чем-то — сладким, тяжёлым. Скорев не сразу понял. Потом понял: ладан. Весь город пах ладаном, как пахнет одежда, если долго стоять в церкви.

На середине горы улица вышла на площадь. На площади стояли лавки, и в лавках продавали соль. Соль лежала в мешках, в бочках, в коробах, грудами, серая и белая, и над каждой грудой стоял человек с мерой. Над площадью висела вывеска — большая, на цепях: мера, такая же, как на печати кроненфельдской гильдии.

— Соляной рынок, — сказал Кранц. — Вся ваша соль — сюда. Отсюда — дальше. В Аренсберг, в Зеенталь, за горы.

— Не наша, — сказал Скорев.

— Кроненфельдская, — сказал Кранц. — Вы ж оттуда.

Скорев не стал объяснять.

За Соляным рынком улица разделилась. Одна шла вверх, к собору, другая — вбок, вдоль горы, и на этой второй дома были каменные, с узкими окнами, с железными решётками, с дубовыми дверями, окованными полосами. Над дверями висели не вывески, а доски, и на досках — не рисунки, а буквы. Перед одной дверью стоял человек в длинной шубе и считал на пальцах, шевеля губами, и, когда кони проходили мимо, он не поднял головы.

— Ломбардский ряд, — сказал Кранц. — Менялы. Тут вам не надо.

— Почему?

— Потому что у вас денег не хватит, чтобы туда войти, — сказал Кранц и в первый раз за три дня усмехнулся. Углом рта. Как Хагедорн.

Они поднялись к собору.

Наверху была другая стена — невысокая, старая, из серого камня, с воротами без створок. За воротами было тише. Улицы там были чище, дома — выше, и у каждого дома над дверью был крест или ключ. Люди ходили в чёрном.

— Соборная свобода, — сказал Кранц. — Тут — консистория. Тут городская стража не ходит. Сюда — только мы.

Собор был огромный. Скорев стоял под ним, задрав голову, сколько позволяла шея, и не видел верха. На портале — каменные люди в каменных складках, и у среднего, самого большого, в руке — ключи. Два ключа, связанные. Один — золотой, другой — серебряный, — то есть каменные оба, но один был выкрашен жёлтым, а другой белым, и краска облезла.

— Святой Пётр, — сказал Кранц. — Наш. Отсюда и ключ.

Из собора выходили люди. Много. У каждого в руках — кувшин, или кружка, или бутыль, а кто победнее — плошка. Выходили осторожно, держа посуду обеими руками, как несут воду в ладонях.

— Что это?

— Иоаннов день, — сказал Кранц. — Святой Иоанн, евангелист. Ему поднесли вино с ядом, а он перекрестил — и яд вышел змеёй. Сегодня святят вино. Кто выпьет — того весь год яд не возьмёт. И молния.

— И молния, — повторил Скорев.

— Вы не верите?

— Меня молния уже брала, — сказал Скорев. — Один раз. Мне хватило.

Кранц посмотрел на него, не понял, и ничего не сказал.

В дверях собора показались носилки.

Не носилки — кресло. Большое, с высокой спинкой, обитое красным, на двух шестах, и шесты несли четверо в белом. В кресле сидел старик. Грузный, в красном, в белой шапке, отороченной горностаем, с лицом широким и рыхлым, как непропечённый хлеб. Одна нога у него лежала на подушке, вытянутая, толстая, в бархатном сапоге без каблука. Он держал в руках серебряную чашу и пил из неё.

Люди на ступенях опустились на колени.

Кранц слез с коня и тоже опустился на колено, в снег. Красные — за ним. Скорев слез — медленно, одной рукой, — и встал на одно колено. Второе, левое, не гнулось как надо.

Старик в кресле допил и отдал чашу. Кто-то подал ему другую. Он не стал пить и отдал дальше — человеку в чёрном, который шёл рядом с креслом. Человек в чёрном отпил и передал следующему. Чаша пошла по рукам — вниз, по ступеням, от чёрного к чёрному.

— Его преосвященство, — сказал Кранц шёпотом, не поднимая головы. — Сам пьёт первый. Потом каноники. Потом — кто удостоится.

— А нога?

— Подагра. Третий год. Не ходит. Носят.

Кресло пронесли мимо — шагах в двадцати. Старик смотрел перед собой. Глаза у него были маленькие, светлые, умные, и когда кресло качнулось на ступени, они на мгновение скользнули по коленопреклонённой толпе, по красным плащам, по волчьей шкуре, — и ушли.

Он не остановился.

За собором, справа, стоял высокий дом с башенкой, и в башенке было окно, круглое, а в окне — что-то белое, с чёрными палочками. Пока Скорев смотрел, оттуда, изнутри, ударило: раз, два, три. Не колокол. Звонче, суше. Как молотком по наковальне, только тоньше.

— Часы, — сказал Кранц, вставая. — Его преосвященства. С маятником. Таких — на всю землю трое. Бьют сами. Его преосвященство по ним живёт. По ним и нам велено.

— Три, — сказал Скорев.

— Три после полудня. В консистории ждут.

Консистория была рядом — низкий длинный дом из тёмного камня, с маленькими окнами, со ступенями, стёртыми посередине. У двери стоял служка в чёрном. Служка посмотрел на Скорева, на руку, на шов — и ушёл внутрь. Вернулся.

— Арестанта, — сказал он. — И писаря.

— Одного писаря? — спросил Кранц.

— Двоих, — сказал служка. — Его — и того, связанного. Остальные пусть ждут.

Клещ остался во дворе, на кривом гнедом. Бернт, Тиль, Пауль, Флориан, Бенно — у телеги. Красные — вокруг. Скорев оглянулся — всем телом, как волк, — на свою половину людей. Половина его людей стояла на снегу в чужом дворе под чужими копьями. Другая половина была в лесу, с бумагами.

Он вошёл.

Внутри было тепло, сухо и пахло так, как пахнет в Каспаровой суме: бумагой, чернилами, пылью и свечным салом. Узкий коридор. Дверь. Ещё дверь. За ней — комната, низкая, с жаровней в углу, со столом под окном. На столе — книги, стопки бумаг, песочные часы, чернильница из рога. За столом — человек.

Человек писал.

Он писал и не поднял головы, когда они вошли. Скорев стоял, Каспар стоял рядом, Штиль стоял сзади, со связанными руками, — а человек писал. Перо скрипело ровно, без остановок, как скрипит ворот у колодца. Потом он дописал строку, присыпал песком, сдул песок, положил перо — и только тогда поднял глаза.

Ему было лет пятьдесят. Сухой, длинный, в чёрной сутане с меховым воротом — мех был старый, вытертый, в одном месте проплешина. Лицо узкое, бритое, серое, как бумага, которую долго держали у окна. Глаза серые, внимательные, без выражения. Руки длинные, белые, и на правой, на безымянном пальце — перстень. Серебряный, тёмный, большой, с печатью. На печати — виноградная гроздь. Кисть винограда.

«На безымянном, — подумал Скорев. — У меня теперь не на чем».

— Каноник Эгидий Ранфт, — сказал человек. Голос у него был тихий, ровный, и он не повышал его ни разу за весь разговор. — Официал консистории его преосвященства. И казначей. Садитесь.

Скорев сел. На скамью, напротив. Каспар остался стоять.

Ранфт взял со стола лист. Скорев узнал: список с приказа, тот, что был у Кранца.

— «Арестанта Виктора Скорефа, именующего себя так», — прочёл Ранфт. Без выражения, как читают опись. — «…доставить под стражей в Штальберг, в консисторию его преосвященства, по запросу консистории о христианах, державшихся в неволе в земле Вельде…» — Он поднял глаза. — Консистория такого запроса не посылала.

Скорев молчал.

— Не посылала, — повторил Ранфт. — Я бы знал. Все запросы консистории пишу я. — Он положил лист. — Но дело о христианах, державшихся в неволе в земле Вельде, у меня есть.

С Николина дня. Его прислал аббат Мариенхофский. Шестьдесят листов показаний, рукой монаха Ансельма, крест и два свидетеля из братии. Хорошее дело. Чистое. — Он помолчал. — Значит, кто-то в Кроненфельде знал, что у меня есть это дело. И написал в приказе, что я прошу. Чтобы было похоже.

Он посмотрел на Каспара. Не долго — один раз. И снова на Скорева.

— А господин ландфогт написал своей рукой, что приказ подлинный. — Ранфт развёл белыми руками. — Значит, подлинный. Консистория не спорит с господами о том, что господа писали. Консистория принимает арестанта. Со всем, что при нём, и с теми, кто при нём.

Он взял со стола пачку. Ту самую, перевязанную бечёвкой, — Каспарову. Бечёвка была развязана и завязана заново, другим узлом.

— Это при вас нашли. — Он положил ладонь на пачку. — Я прочёл. Ночью — капитан прислал гонца вперёд, с сумкой. Списки. Список мировой. Список закладной. Список с людской тетради. Список с показаний аптекаря Барди, ныне покойного. Список со слов управляющего Кремпа, ныне покойного. Список со слов вот этого человека. — Он кивнул на Штиля. — Всё — одной рукой. Хорошей рукой. — Он посмотрел на Каспара снова. — Вашей?

— Моей, ваше преподобие, — сказал Каспар и поклонился.

— Хорошая рука.

— Своя, ваше преподобие.

— У писарей своих рук не бывает, — сказал Ранфт. — У писарей бывают руки тех, кто им платит. — Он снова повернулся к Скореву. — Списки — это слова. Слова я читаю каждый день, по сорок листов. Мне нужны не слова. Мне нужны подлинники. Тетради. Ведомость. Печать. Где они?

— Не при мне, — сказал Скорев.

— Капитан обыскал телегу. Сундук. Людей. — Ранфт не спрашивал, он перечислял. — Подлинников не нашёл.

— Не нашёл, — согласился Скорев.

— Где они?

— Там, где их не найдут ни ваши люди, ни ландфогтовы.

Ранфт посмотрел на него. Долго. Песок в часах на столе тёк тонкой струйкой. Скорев смотрел на песок. Песок был серый, мелкий, речной.

— Вы арестант, — сказал Ранфт тихо. — Вы понимаете, что это значит?

— Понимаю. Это значит, что меня привезли. А могли бы — не привезти. Могли бы — найти у моста во льду. Как вашего сторожа.

Ранфт не шевельнулся. Только пальцы правой руки — длинные, белые — легли на стол плашмя. Перстень с кистью винограда стукнул о дерево.

— Сторож, — сказал он.

— Брат Тидеман. Сорок лет на мосту. Не пил.

— Вы ему платили за мост.

— Платил.

— Капитан говорит — новым талером.

— Новым.

— Откуда у вас новые талеры?

— Из сундука ландфогта, — сказал Скорев. — Его жалованье. Его люди везли его разбойникам, я взял. По закону добычи.

— Сколько их у вас?

— Тридцать пять. В свёртках. Под пломбой его амтмана. Не мои.

— Не ваши?

— Это не деньги, ваше преподобие. Это бумага.

Ранфт помолчал.

— Новые талеры Дальхайма, — сказал он медленно, — в земле его преосвященства не ходят. Здесь своя монета. Епископская. И аренсбергская, и оствальдская. А дальхаймская — не ходит. — Он подвинул к себе чистый лист. — Сдайте их в казну консистории. Я дам вам за них по весу. Старыми. Полновесными. Это вам выгоднее.

Скорев смотрел на него.

Он не понимал — пока. Он видел только одно: человек, который не повышает голоса, у которого на столе дело о двадцати девяти, списки Каспара, приказ ландфогта и слово «арестант», — этот человек из всего этого первым делом спросил про новые талеры. Не про тетради. Не про ведомость. Про тридцать пять новых талеров, которые не деньги.

«Сжатия нет, — подумал Скорев. — Значит, не опасность. Значит, что-то, чего я не знаю. А когда не знаешь — молчат и смотрят».

— Не сдам, — сказал он.

— Почему?

— Потому что это не деньги. — Он повторил это так же ровно, как Ранфт говорил своё. — Это бумага. Свидетельство. Что амтман Кроненфельда платил разбойникам. Мне это свидетельство нужно целым. С пломбой. Иначе это просто серебро.

Ранфт смотрел на него ещё немного. Потом кивнул — едва, одним подбородком.

— Разумно, — сказал он. И отодвинул чистый лист. — Тогда о подлинниках. Вы хотите сказать, где они, — за что?

— За грамоту.

— Какую?

— Охранную. Именем его преосвященства. До Сретения. Чтобы я ходил по городу не арестантом, а человеком на поруках. Чтобы меня не взяли ни город, ни мытня, ни ландфогтовы люди, которых тут, я думаю, больше, чем мне хочется.

— А на Сретение?

— На Сретение — будут бумаги.

— Почему на Сретение?

— Потому что на Сретение здесь платят по векселям, — сказал Скорев. — Капитан говорил. Вы казначей, ваше преподобие. Вы знаете, что такое срок.

Каспар сзади тихо, едва слышно, вздохнул. Скорев не мог повернуть шею, но знал, что Каспар сейчас смотрит на него круглыми глазами и думает: экселенц, это лишнее.

Это было лишнее. Но слово уже было сказано, и Ранфт его взял, как берут монету: повертел и положил.

— Срок, — сказал Ранфт. — Да. Я знаю, что такое срок.

Он перевернул песочные часы. Песок потёк снова.

— Тридцать семь дней, — сказал он. — От сегодня до Сретения. Тридцать семь. — Он взял перо. — Грамота стоит десять талеров. Писцу — тридцать крейцеров. Условия такие. В городе оружия не носить, кроме ножа. В Соборной свободе — и ножа не носить. По зову консистории являться в тот же день. За стены города без дозволения не выходить. Жить — где укажут. — Он писал, не глядя, ровно, быстро. — Укажут — Пилигримов двор. Под собором. Там постой, три крейцера с головы в сутки, дрова свои. Люди ваши — при вас, под той же грамотой, сколько их… — он сверился с Кранцевым листом, — девять. Кони — на городской конюшне, за ваш счёт.

— А он? — Скорев кивнул назад, на Штиля.

Ранфт поднял глаза на Штиля. Штиль стоял у стены, в лисьей шубе, со связанными руками, и смотрел в пол.

— Это — свидетель, — сказал Ранфт. — Писарь амтмана Кроненфельда. Отмар Штиль. Так?

— Так, ваше преподобие, — сказал Штиль. Тихо, хрипло. Первые слова за три дня.

— Свидетель по делу о двадцати девяти, — сказал Ранфт. — Свидетелей консистория вызывает. Но не кормит. — Он снова писал. — Кто привёз, тот и кормит. Писарь Штиль остаётся при арестанте. Арестант отвечает за то, чтобы писарь Штиль явился, когда позовут. Живым.

— Живым, — повторил Скорев.

— Живым, — сказал Ранфт. — Мёртвые свидетели консистории не нужны. У нас, знаете, их и так много. Шестьдесят листов.

Он дописал, посыпал песком, сдул. Позвонил в колокольчик. Вошёл служка. Ранфт отдал ему лист. Служка вышел. Через некоторое время — песок в часах успел стечь наполовину — вернулся с другим листом, на котором внизу был красный воск. В воске — два ключа, связанные.

Ранфт взял лист, прочёл, подписал.

— Десять талеров, — сказал он. — И тридцать крейцеров.

Скорев отсчитал из пояса. Своих. Положил на стол. Ранфт не стал считать — смахнул длинной белой рукой в ящик стола, не глядя.

— Охранная грамота, — сказал он и подал лист. — Именем его преосвященства Иоганна Морица фон Хагенбаха, епископа Штальбергского. Виктору Скорефу, именующему себя так, с людьми его, числом девять, до Сретения Господня.

Скорев взял.

Он посмотрел на лист. «Именующему себя так» стояло и тут. Каспаровы слова. Из подложного приказа — в подлинную грамоту, с воском и ключами.

— Вы знаете, что это значит? — спросил Ранфт. — «Именующему себя так»?

— Знаю. Что вы не знаете, кто я.

— Я знаю, кто вы, — сказал Ранфт. — Вы — человек, которого господин ландфогт Дальхаймский объявил вне мира, а потом сам же отправил ко мне под стражей и написал своей рукой, что так и было. Это я знаю. Я не знаю, Виктор ли вы Скореф. — Он встал. Ростом он оказался выше, чем казался за столом, — длинный, сутулый, как цапля. — Здесь вы не вне мира, господин именующий себя. Здесь вы на поруках. Это разное. Вне мира — вас может убить любой. На поруках — вас может убить только тот, кто поручился. Пока вы ему нужны — он вас не убьёт.

— Кто поручился?

— Его преосвященство. Моей рукой. — Ранфт смотрел сверху вниз. — До Сретения тридцать семь дней. Потом поговорим о том, кто вы такой.

Аудиенция кончилась. Служка открыл дверь.

На пороге Скорев остановился.

— Ваше преподобие.

— Да?

— Сторож. Тидеман. У него что взяли?

Ранфт уже сидел, уже взял перо. Он поднял глаза.

— Ничего, — сказал он. — Кошель при нём. Медь при нём. Ничего не взяли.

— Ничего, кроме талера, — сказал Скорев.

Перо не двинулось. Ранфт смотрел на него поверх стола, и лицо его было серое, бумажное, без выражения.

— Ничего, кроме талера, — согласился он ровно. — Идите, господин Скореф. Вас ждут.

Пилигримов двор был за собором, в углу Соборной свободы, — длинный дом с галереей на столбах, с двором, с колодцем, с конюшней на шесть коней, в которой стояло два мула и одна коза. Держал его брат-мирянин, старый, лысый, хромой, который на всё говорил «во славу Божию» и брал вперёд. Три крейцера с головы в сутки, дрова свои — охапка два крейцера, — сено свои, вода из колодца даром, Божья.

Скорев заплатил за неделю. Посчитал: девять голов на семь дней на три крейцера — сто восемьдесят девять крейцеров, три талера и девять крейцеров. Дрова — ещё полталера. Конюшня городская, за Соборной свободой, — по крейцеру с коня в сутки, четырнадцать коней. Ещё полтора талера в неделю.

Он считал и думал, что до Сретения тридцать семь дней, а в сундуке восемьдесят общих, а в поясе — тридцать без десяти, ушедших на грамоту.

«Пять недель, — подумал он. — Пять недель здесь стоят столько, сколько в Вельде стоит полгода. И всё это время надо не просто жить. Надо продавать».

Вечером у собора звонили. Не к службе — по-праздничному, перебором. Город пил святого Иоанна. Из окон галереи Скорев видел, как по Соборной свободе ходят люди с кувшинами и плошками, и как на площади у портала кто-то разжёг костёр, и как вокруг костра стоят, пьют, крестятся.

Кранц пришёл, когда уже стемнело.

Пришёл не один — с рыжим сержантом, тем самым, широким. Сержант был в снегу по колено, усталый, злой. Кранц сказал: это Губерт, он оставался на мосту, догнал только сейчас.

— Расскажи ему, — сказал Кранц.

Губерт посмотрел на Скорева, на Кранца, потом снова на Скорева, и рассказал.

Тидемана вынули из полыньи утром, ещё до того, как они выехали из Мостового. Он лежал лицом вниз, под первым быком, там, где вода крутится, — Губерт показал рукой, как крутится, — и лёд над ним был тонкий, свежий, за ночь стал. Голова у Тидемана была разбита. Сзади. Не о камень — о камень так не бьёт. Чем-то тяжёлым и тупым.

— Кошель при нём, — сказал Губерт. — Медяки. Восемь пфеннигов, два крейцера. Всё. А талера нету. Того, что он хвастал.

— Может, утонул талер, — сказал Кранц. — Выпал.

— Кошель завязан был, — сказал Губерт. — Как выпасть из завязанного?

Кранц промолчал.

— А на льду, — сказал Губерт, — у быка, где он лежал, — следы. Немного. Снег был, замело. Но у быка, под мостом, где ветром не задувает, — видно. Сапоги. — Он посмотрел на Кранца. — Я срисовал, капитан. Как велели.

Он достал из-за пазухи дощечку — восковую, как у купцов. На воске был процарапан след. Подошва. Широкая, тупоносая. И в подошве, в каблуке, — три точки. Треугольником.

Скорев смотрел на дощечку.

— Гвозди, — сказал Губерт. — Три гвоздя в каблуке. Такие не у всех. Я, капитан, нигде такого не видал. Ни у наших, ни у городских.

Кранц взял дощечку. Посмотрел. Потом поднял глаза — и посмотрел вниз. На ноги. На ноги Тиля, который стоял у двери, — Тиль как раз принёс дрова.

Тиль был в волчьих сапогах. Тех, что они сняли с мёртвых в овчарне, под Кроненфельдом, в ноябре. Тупоносых. С тремя гвоздями треугольником в каблуке.

Тиль это тоже понял. Он стоял с охапкой дров и смотрел на свои ноги.

В комнате стало тихо.

— Такие сапоги, — сказал Скорев ровно, — были у сорока человек. Сорок волков. Рота Штумпфа. Один сапожник шил на всех. Мы их снимали с мёртвых. У меня в артели такие у четверых.

— У четверых, — повторил Кранц.

— У него. И у трёх мальчишек, которые ушли.

— Которые ушли, — сказал Кранц. Он смотрел на дощечку. Потом — на Скорева. — Ушли ночью. Когда тут резали.

— Когда в Мостовом резали, — сказал Скорев. — А мост — полдня назад по дороге. Ночью. Пешком. Двенадцатилетний на костыле.

Кранц подумал.

— Да, — сказал он. — Да. Далеко.

Он отдал дощечку Губерту.

— Я не судья, — сказал он, как говорил уже раньше. — Я капитан. Мне сказано: следы — срисовать. Срисовали. Отнесу в консисторию. Пусть думают.

Он ушёл. Губерт — за ним, оглянувшись в дверях на сапоги Тиля.

Тиль стоял с дровами.

— Господин, — сказал он. — Это не я.

— Знаю, что не ты. Ты был в сарае. Девять человек видели.

— А мальчишки…

— Мальчишки были в лесу.

— А кто тогда?

Скорев не ответил.

Сорок волков. Пятнадцать висят на развилке у Дрейвеге, на трёх столбах. Двадцать четыре — в земле, или в снегу, или подо льдом. Двое ушли из роты ещё до Томасовой ночи — совсем, с конями, Бернт говорил. И один — у брода, в ночь на Томаса, — ушёл под лёд, и его не нашли.

Сорок пар сапог. Четыре пары у них. Пятнадцать — на повешенных; с повешенных снимают, а может, и не снимают, — висят в сапогах. Остальные — кто знает. Мёртвые не носят сапог долго; сапоги переходят к живым.

Кто-то ночью перешёл мост — в волчьих сапогах — и разбил сторожу голову сзади, и забрал из завязанного кошеля один талер. Новый. Без единой царапины.

Не медь. Не кошель. Талер.

«Ранфт спросил про талер первым, — подумал Скорев. — Не про тетради. А тот, кто был на мосту, взял только талер. И оба — про новую монету».

Он сидел на лавке в Пилигримовом дворе, в темноте, и держал левую руку на колене, и думал, что не понимает. Что всё это — про монету, а он не знает, что в монете такого, за что убивают сторожей.

Он знал только, что она легче.

Нет. Этого он тоже не знал. Он думал, что знает, — потому что новая, потому что красивая, потому что ландфогтова. Но он ни разу не держал её на весах. В Кроненфельде он вешал каждую монету, которую давала гильдия, — на зуб и на весы. А новые, ландфогтовы, лежали в свёртках, и он их не трогал, потому что свёртки — бумага.

Утром он велит Паулю достать весы.

На третий день мальчишки пришли сами.

Скорев ждал их у Речных ворот — то есть не у ворот, а внутри, у Шпиталя Святого Духа, который стоял прямо за воротами, у стены, длинный, низкий, с часовней на углу. За стены без дозволения ему было нельзя. Пауль — тот, чьё лицо забывают через минуту, — с рассвета ходил туда и обратно через Речные ворота, мимо синих, раз шесть, и синие ни разу его не запомнили и каждый раз брали пфенниг.

На шестой раз он вернулся не один.

Они шли за ним, как идут сироты в Шпиталь: Ханно впереди, с собакой, за ним Ханс — без арбалета, руки пустые, — за ним Клаус на ольховом костыле. Грязные, мокрые по пояс, с лицами, обветренными до красноты. За плечами у Ханно был мешок — не свёрток, а мешок, грязный, холщовый, и из мешка торчала метла.

— Метла? — сказал Скорев.

— Сироты с метлой — это работники, — сказал Ханно. — Работников не обыскивают. Работников гонят.

— Арбалет где?

— В метле, — сказал Ханс. — Ну. Не в метле. В мешке, под метлой. Разобранный. Ханно научил. Тетиву — за пазуху, ложе — в мешок, дугу — вдоль спины, под кожух.

— А болты?

Ханс показал: в сапоге, в голенище. Двенадцать — в одном, восемь — в другом.

— Двадцать, — сказал Скорев. — Все?

— Все. Никого не было. Ни разу. Один раз мужик с дровами. Ханно сказал — мы сироты. Мужик дал хлеба.

Клаус сел на ступеньку Шпиталя и вытянул ногу. Нога у него опухла.

— Три дня, — сказал он. — Лесом. Ханно — как по полу. А мне — не как по полу.

— Ты дошёл, — сказал Скорев.

— Я дошёл, — согласился Клаус. — Вы были. Я ж говорил.

Скорев посмотрел на мешок за плечами Ханно.

— Всё?

— Всё, — сказал Ханно. — Тетради. Ведомость. Бумажки с крестом и с подписями. — Он расстегнул ворот кожуха и вытащил шнурок. На шнурке, рядом с медным нательным крестиком, висела медная печатка. — И это.

Скорев взял печатку. Тёплая. Две буквы. Латинские. Сплетённые.

— Носил, как крест, — сказал Ханно. — Три дня. Всё думал — не тот крест.

Каспар подошёл. Взял печатку из рук Скорева — осторожно, двумя пальцами, как берут что-то своё.

— Пояс, — сказал он. — Зашью в пояс. Изнутри. Под пряжку.

— Зашей.

Теперь — бумаги.

Скорев думал об этом два дня. Про каждое место в городе — куда положить. Пилигримов двор: туда в любой день может прийти служка консистории с Кранцем, и они не спрашивают. Городская конюшня: туда может прийти город. Шпиталь: Шпиталь — это братья, а братья — это консистория. Река: река — это мытня, а мытню он ещё не знает. Лавка, меняла, корчма: всё это — люди, а люди продают.

— Туда, где не ищут, — сказал Ханно.

Скорев посмотрел на него.

— Дед говорил, — сказал Ханно. — Когда прячешь от людей — прячь туда, куда люди не ходят. А куда люди не ходят? Где мёртвые. Дед в лесу, если надо было что спрятать, — клал в старую могилу. На погосте, за оградой. Никто не роет. Никто не смотрит. Мертвецов боятся.

— Здесь кладбище за стеной, — сказал Каспар. — Нам нельзя.

— Не кладбище, — сказал Ханно. Он кивнул наверх, на гору, на собор. — Я, когда шли, видел. У собора, сбоку, под стеной, — дом без окон. Дверь решёткой. Там черепа. Полный дом черепов. Рядами. До потолка.

— Костница, — сказал Каспар медленно. — Ну да. У них земли нет на горе, хоронят тесно. Через двадцать лет выкапывают и кости — в костницу. Черепа — к черепам, кости — к костям. — Он посмотрел на Скорева. — Экселенц. Туда ходит один брат с метлой, раз в год, на Всех святых. И больше никто. Туда боятся.

Скорев посмотрел на гору.

Костница была в Соборной свободе. Под рукой у Ранфта. В двадцати шагах от консистории. Если искать — искать будут далеко: в лесу, в мытне, у менял, у городских. Под собором искать не будут. Никто не станет искать у себя под ногами.

— Мёртвые сторожат лучше живых, — сказал он.

— Дед так и говорил, — сказал Ханно.

В тот же вечер, когда в соборе служили вечерню и Соборная свобода была пуста, — Ханно и Каспар пошли к костнице. Скорев стоял у угла и смотрел. Пауль стоял у другого угла.

Решётка была на замке. Замок — старый, ржавый, висячий. Каспар повозился с ним минуту — у Каспара для замков было что-то в рукаве, Скорев не спрашивал что, — и решётка открылась.

Внутри было темно и сухо. Ханно вошёл первым. Скорев видел в проёме только его спину — и за спиной, в темноте, ряды. Белые, круглые, одинаковые. Черепа, уложенные, как камни для пращи у Клауса, как кочаны в погребе.

Ханно вернулся без мешка.

— Третий ряд снизу, — сказал он тихо. — Слева от двери. Седьмой и восьмой череп вынул, мешок за них, черепа на место. Там сухо. Как в сундуке.

Каспар закрыл решётку, повесил замок, щёлкнул.

— Кто знает? — сказал Скорев.

— Я, — сказал Ханно. — Каспар. Вы. Пауль видел, что мы ходили. Куда — не видел.

— Больше никто, — сказал Скорев. — Ни Клещ. Ни Бернт. Ни Ханс с Клаусом. Никто. Штиль — тем более.

— Клещ обидится, — сказал Каспар.

— Клещ не обидится. Клещ поймёт. Клещ тридцать лет воюет.

Они пошли назад, к Пилигримову двору, через пустую Соборную свободу, мимо консистории, в окне которой ещё горел свет. За окном кто-то сидел и писал — Скорев видел тень: длинная, сутулая, с пером.

Он подумал, что Ранфт сидит в двадцати шагах от тетрадей. Пишет. И не знает.

И подумал ещё, что до Сретения теперь тридцать шесть дней, и что Ранфт об этом помнит лучше него.

Глава третья. Невинные

В Фогтее на скале над Кроненфельдом, в комнате под самой крышей, где окно смотрело на юг, на дорогу к Ильме, стоял человек и читал тетрадь.

Он читал стоя. Он всегда читал стоя, когда в комнате был кто-то ещё, а в комнате был ещё кто-то: в углу, у распятия, на скамеечке для колен, стоял на коленях старик в чёрном и перебирал чётки. Старик молился. Человек читал. Ни тот, ни другой не говорили.

Человек был сухой, невысокий, серый — серый лицом, серый волосом, в сером сукне, хорошем, дорогом, без единого украшения. Руки у него были в перчатках. Тонких, тёмных, из козьей кожи. Он переворачивал листы в перчатках, и это было неудобно, но он делал это ловко, как будто привык.

Тетрадь лежала на высокой конторке. Под ней — ещё три. Четыре тетради, сшитые суровой ниткой, исписанные одной рукой.

Человек знал эту руку.

Он знал её лучше, чем свою. Своей у него, если подумать, и не было — была та, которой платили, и та, которой велели. Эту руку — мелкую, наклонную, с хвостом у «д» и с петлёй у «в» — он мог написать с закрытыми глазами. И поэтому он видел то, чего не видел человек, который принёс эти тетради Мерку, и не видел сам Мерк, и не видел писарь, который читал их в Фогтее ночью, перед тем как ландфогт велел убрать Мерка.

Он видел, что это не та рука.

Похожая. Очень похожая. Лучше, чем умел сам Кремп в последний год, когда пил. Но — не та. В «д» хвост был чуть короче. В «в» петля — чуть круглее. И чернила — он поднёс лист к окну — чернила были с ржавчиной: так бывает, когда в чернильный орешек бросают гвоздь, чтобы гуще; Кремп так не делал, у Кремпа были чернила из Гербштадта, в глиняных бутылках, по крейцеру за бутылку. И бумага. Он посмотрел лист на свет. Знак на бумаге — круг с крестом — был. Но бледнее, чем надо. Гильдейская бумага. Кроненфельдская. Не гербштадтская.

И листы были прокопчены — нарочно, над свечой, чтобы казались старыми. И нитка, которой сшили, — он потрогал её пальцем в перчатке — нитка была не суровая. Из мешковины. Из мешка от овса.

Подделка.

Он знал это с Рождества. С того утра, когда амтман Ребер, белый, с трясущимися губами, принёс ландфогту бумагу со своей подписью и своей печатью — и сказал, что не писал её. Если есть рука, которая пишет за амтмана так, что амтман сам не может сказать, где его рука, а где чужая, — значит, эта же рука могла написать и тетради.

Могла. И написала.

Мерка убили за одну строку. Человек нашёл её быстро — он знал, где искать. «Ю. Мерку сверх уговора, из доли господина — шестьдесят четыре талера». Двенадцать раз, по кварталам, за три года. Строки этой в настоящих тетрадях не было и быть не могло.

Человек не стал думать о Мерке. Мерк был — и нет. Это было решено и сделано, и думать об этом было незачем. Ландфогт тоже не думал. Ландфогт молился.

Человек думал о другом.

Он думал о том, что подделыватель переписал всё. Все четыре тетради — слово в слово, цифра в цифру, — кроме одной строки. Это была хорошая работа. Это была работа человека, который знает: подделку ловят на мелочи, и потому в мелочах не врёт. Врёт только в одном месте. В одном.

Значит, всё остальное — правда. Как в подлиннике.

Он взял третью тетрадь. Людскую.

Тут был счёт людей с просеки. Кто принят, когда, откуда, за что. Кто снесён — когда. Кто бежал — и что с ним. Человек знал эту тетрадь: он сам её вёл, полтора года, по субботам, сидя у весов, при фонаре, — той самой мелкой наклонной рукой, с хвостом у «д». Кремп в последние полгода на просеку не ездил. Кремп пил. Кремповой рукой тетрадь вёл он.

Он стал считать.

Он считал медленно, ведя пальцем в перчатке по строкам, как считал Каспар — он этого не знал, но считал так же. Принято за два года — столько. Снесено — столько. Бежало и поймано — столько. Выведено живыми в Мартынов день, по описи, двадцать девять.

Не сходилось.

На одного.

Он пересчитал. Не сходилось на одного.

Он стал искать — где. Искал долго, строку за строкой. И нашёл. Осень прошлого года. «Принят один, именем не назвался». И против этой строки — ничего. Ни числа, ни отметки «снесён».

Он помнил эту строку. Он сам её написал. Он сидел тогда у весов, и Кремп — Кремп ещё ездил, это было до того, как Кремп начал пить, — Кремп привёл троих, которых взяли на дороге. Двое назвались. Третий — нет. Третий был худой, светлый, с гнилой ногой, и молчал. Кремп сказал: пиши — именем не назвался. Он и написал. И не посмотрел на третьего — зачем было смотреть на третьего? Людей на просеке было много. Люди на просеке были не люди, а руки.

А весной снесли ратенца. Со сломанной ногой. Это тоже была его строка.

А того, худого, светлого, — не снесли.

Человек отложил тетрадь и взял со стола другую бумагу. Список. Он велел его сделать в декабре, когда начал думать о Мартыновом дне в Вельде: запись графского писаря с мировой. Всё, что говорилось во дворе замка в тот день, при свидетелях. Он нашёл место, которое помнил.

Кремп, во дворе, при всех, когда его сдали. «Тех я нанял. Это да. А мальчика я не мог».

Мальчика.

Человек постоял.

Кремп пришёл в Вельде пятнадцать лет назад — писцом при старом бароне. Потом ушёл в Гербштадт. Потом, четыре года назад, вернулся — управляющим, по слову Мерка. Человек это знал: в Фогтее про всех, кто служит, знали всё. Пятнадцать лет назад сыну барона было семь.

Мальчика я не мог.

Худой. Светлый. Гнилая нога. Именем не назвался.

Человек сложил список, положил его на тетрадь, тетрадь — на остальные три. Потом повернулся к углу, где у распятия стоял на коленях старик.

— Ваша милость, — сказал он.

Старик не обернулся. Чётки двигались — одна бусина, другая. Губы шевелились.

Человек ждал.

Он умел ждать. Он ждал, пока старик дочитает десяток, — он считал бусины, — и, когда старик дочитал, сказал:

— Строка в людской тетради. Один человек с просеки — не снесён. Не назвался. Привезён прошлой осенью, худой, светлый, с ногой. Кремп во дворе в Вельде сказал: мальчика я не мог.

Старик молчал.

— Сыну барона фон Вельде нынче двадцать два, — сказал человек. — Барон думает, что сын умер. Скореф отдал ему перстень. Сказал — умер.

Старик повернул голову. Медленно. Лицо у него было длинное, сухое, бледное, с глубокими бороздами от носа к углам рта, и глаза — светлые, водянистые, спокойные. Он смотрел на человека так, как смотрят на погоду за окном: идёт снег — значит, идёт снег.

— Двадцать девять, — сказал человек. — Сейчас в Мариенхофе. На стройке у аббата. В книге Кремпа — двадцать два имени. Семеро — без имён. Один из семерых.

Старик смотрел на него.

Потом сказал одно слово:

— Узнай.

И отвернулся к распятию. И чётки снова пошли — одна бусина, другая.

Человек поклонился спине и вышел.

На лестнице, спускаясь, он думал, что «узнай» значит не «узнай». «Узнай» значит — сделай так, чтобы узнавать было нечего. Ландфогт никогда не говорил больше одного слова. Ландфогт не писал своей рукой. Своей рукой ландфогт написал за всю зиму одну бумагу — вчера, на Рождество, к консистории: приказ подлинный. И это было потому, что человек сам пришёл к нему утром и сказал: подпишите, ваша милость. Пусть Скореф идёт в консисторию. Со всем, что при нём. Пусть думает, что вывернулся.

Ландфогт подписал. Одной строкой. И сказал тогда тоже одно слово: «Хорошо».

Человек спустился во двор. Во дворе, у конюшни, ждали шестеро. Не в красном и не в синем — в серых кожухах, в лохматых шапках, и у каждого через седло была перекинута свёрнутая шкура. Волчья.

Он знал их всех. Пятеро стояли на просеке сторожами — те, что ушли в лес, когда Скореф брал барак. Шестой был из роты, из тех двоих, что ушли из Дрейвеге до Томасовой ночи, совсем, с конями. Второй из тех двоих вчера, на Рождество, уехал на юг, к Ильме, по его же слову, и к утру вернулся без шкуры, но с одним новым талером, который отдал человеку в руки, не говоря ни слова.

— В Мариенхоф, — сказал человек. — Там двадцать девять, с просеки. Вы их знаете в лицо.

— Знаем, — сказал старший. Он был кривой на один глаз, с бородой лопатой. — Я им пайку взвешивал.

— Вот список. — Человек подал лист. — Двадцать два имени. Это — с именами. Их не трогать. Ни одного. Мне не нужен шум на всю округу.

— А кого трогать?

— Тех, кого нет в списке. Их семеро. Мне нужен один из семи. Какой — я не знаю. Вы тоже не узнаете — он с осени не назвался, не назовётся и сейчас.

Кривой посмотрел на лист. Читать он не умел — смотрел, как смотрят на картинку.

— Семеро, — сказал он. — Один нужен. А шестеро?

Человек натянул перчатку плотнее — на левой руке, у запястья.

— Шестеро тоже не назвались, — сказал он. — Кто не назвался — того нет. Сделайте так, чтобы их и не было.

Ночь на Невинных младенцев была тихая, звёздная и такая морозная, что в Мариенхофе у колодца лопнуло ведро.

Брат Ансельм не спал.

Он не спал уже вторую ночь: в лечебнице лежал старый брат Зебальд с грудной хворью, хрипел, и Ансельм сидел при нём, менял мокрые тряпки на лбу, грел камни и подкладывал под ноги. Брату Зебальду было восемьдесят, и он хрипел так, как хрипят те, кому осталось немного, — Ансельм это знал, он слышал такой хрип много раз. Но сидел.

А ещё он не спал потому, что неделю назад пришла бумага.

Бумагу привёз гонец из Штальберга, в синем плаще, с ключом на груди, — и отдал отцу Бонифацию в руки, и отец Бонифаций прочёл её при Ансельме, у себя в келье, стоя, а потом

сел. Консистория его преосвященства по делу о христианах, державшихся в неволе в земле Вельде, вызывала свидетелями к Сретению: монаха Ансельма, писавшего показания, и двоих из двадцати девяти — по выбору отца настоятеля, тех, кто дольше всех был на просеке и больше всех помнит.

Отец Бонифаций выбрал Юргена. Юрген был на просеке дольше всех и помнил больше всех. А Юрген сказал: без него не пойду. И кивнул на того, безымянного.

Отец Бонифаций посмотрел на Юргена долго. Потом сказал: пусть так.

Выходить велено было после Богоявления. Чтобы к Сретению — с запасом.

Ансельм сидел у брата Зебальда и думал про Штальберг. Он никогда не был в Штальберге. Он думал про консисторию, где судьи — каноники, учёные, в мехах, и про то, как он будет стоять перед ними и говорить, а они будут спрашивать. Про то, что он скажет. Про ратенца, который просил передать матери в Ольхово, что он не сбежал, — и про то, что матери он так и не передал.

Он думал, что в Штальберге, может быть, найдутся люди, которые знают, где Ольхово.

Брат Зебальд захрипел громче. Ансельм поднялся, чтобы перевернуть его на бок, — и услышал.

Сначала он подумал, что это опять ведро. Потом — что ворота. Потом понял: это голос. У ворот, внизу, у сторожки привратника. Голос был негромкий, но ночью, в мороз, всё слышно далеко. Голос говорил что-то, и голос брата Ремберта, привратника, отвечал — сонно, сердито, — и вдруг перестал отвечать.

Совсем.

Ансельм постоял. Потом взял фонарь и вышел.

Лечебница была у восточной стены, в стороне. От её двери было видно двор, и ворота, и сторожку, и за ней — стройку: огромный, без крыши, неоконченный каменный остов новой церкви, которую строили двадцатый год, обнесённый лесами, и при нём — сараи, известковая яма, длинный дом, где жили работники. Двадцать девять с просеки жили в этом доме с Мартынова дня. Их кормили, одевали и давали им работу — носить камень, мешать известь, тесать. Отец Бонифаций сказал тогда: обитель не берёт беглых, но работников нанять может.

В воротах стояли люди. Ансельм видел их при звёздах — тёмные, лохматые, в шкурах. Шестеро. Один нагнулся над чем-то у сторожки. Над чем-то, что лежало на снегу.

Ансельм погасил фонарь.

Он не знал, почему погасил. Руки сделали сами. Он стоял в темноте у двери лечебницы и смотрел, и люди в шкурах прошли через двор — не к церкви, не к кельям, не к трапезной, — а прямо к длинному дому. К работникам. Они знали, куда идти.

Из кельи у трапезной вышел кто-то — брат Отфрид, по росту, — со свечой, в одной рясе. Крикнул: кто там? Один из шестерых повернулся к нему, подошёл быстро, без спешки — и Ансельм увидел, как свеча упала в снег и погасла.

Брат Отфрид тоже упал.

Ансельм стоял.

Он стоял и не мог двинуться, и в голове было одно: колокол. Надо в колокол. Колокол был на звоннице у трапезной, через двор. Через двор — мимо них.

Люди в шкурах вошли в длинный дом.

Тогда Ансельм побежал. Не через двор — вдоль стены, за лечебницей, за дровяным сараем, вокруг, к звоннице. Он бежал по снегу в сандалиях на босу ногу, и снег был такой холодный, что казался горячим.

У звонницы он столкнулся с братом Ульрихом, звонарём, который тоже проснулся, — и сказал ему: бей. Бей во всё. И Ульрих полез наверх.

А Ансельм побежал к длинному дому.

Он прибежал, когда уже кончалось.

В длинном доме горел огонь — кто-то из шестерых раздул очаг, чтобы было светло. Двадцать с лишним человек стояли у стены, в рубахах, босые, с поднятыми руками. Перед ними стоял кривой, с бородой лопатой, и держал лист. Он не читал — читать он не умел. Читал другой, молодой, через его плечо, по слогам, и после каждого имени кривой смотрел на того, кто отзывался, долго, в лицо — и кивал: этот. Отходи вправо.

Хеннинг. Отходи. Мартин Грубер. Отходи. Юрген, бродяга, — молодой прочёл «Юрген», а дальше читать не стал, — где Юрген? Нету Юргена. Ладно.

Те, кто отзывался, отходили вправо, к очагу. Те, кто не отзывался, оставались у стены.

У стены осталось шестеро.

Старик Эберхард, который не помнил, откуда он, потому что был на просеке четвёртый год и забыл. Парень лет шестнадцати, которого привезли летом из-под Кроненфельда и который не знал своей фамилии, только что Петер. Двое, что говорили не по-здешнему, и их никто не понимал. Хромой, по прозвищу Колода. И тот, что лежал с осени и не вставал, — его подняли с тюфяка и поставили, и он стоял, держась за стену.

Шестеро.

— Седьмой где? — спросил кривой.

Никто не ответил.

— Седьмой, — сказал кривой, — который не назвался. Светлый. Худой. С ногой. Где?

Хеннинг, стоявший у очага, посмотрел в пол. Мартин Грубер посмотрел в пол. Все посмотрели в пол.

Кривой подождал. Потом повернулся к шестерым у стены.

Ансельм увидел всё это с порога. И то, что было потом, он тоже увидел — и потом, в Штальберге, когда его спрашивали, он рассказывал это ровно и тихо, как рассказывал всё, что видел на просеке, и не плакал, потому что выплакался на просеке. Шестеро людей в шкурах прошли вдоль стены слева направо. Один за другим. Ножами. Быстро. Так, будто делал один человек.

Старик Эберхард упал первым. Петер шестнадцати лет — вторым. Тот, что лежал с осени, упал сам, раньше, чем к нему подошли, — ноги не держали, — и его ударили лежачего.

Колокол на звоннице ударил, когда упал пятый.

Кривой обернулся на звук. Потом на дверь.

В двери стоял Ансельм. С погасшим фонарём в руке.

— Монах, — сказал кривой. — Ещё один.

Ансельм не помнил, что он думал. Он не думал ничего. Он видел, как кривой идёт к нему через длинный дом, обходя тех, кто лежал, — и поднял фонарь. Тот самый, медный, с роговыми стёклами, тяжёлый. Он уже бил им однажды человека — на просеке, в ночь на новолуние, старшего сторожа, — и тогда он долго не мог понять, как это он сделал. Сейчас он понимал.

Он ударил кривого фонарём в лицо, в тот глаз, который был целый.

Кривой взвыл и схватился за лицо. Роговое стекло разлетелось.

А снаружи, у сарая с камнем, — Ансельм это услышал, обернувшись, — кто-то вскрикнул и замолчал. И ещё раз.

Безымянный спал не в длинном доме.

Он никогда не спал с остальными. С Мартынова дня — ни одной ночи. Он спал в сарае, где лежал тёсаный камень для стройки, на соломе, за штабелем, и Юрген спал с ним, потому что Юрген всегда был с ним. Отец Бонифаций знал и не говорил ничего: работники где спят, там и спят.

Двое из шестерых пошли искать седьмого. Кривой послал: обыщите сараи.

Они пришли в сарай с камнем. Вошли. Огня у них не было — шли на звук, на запах, наугад, в темноте, по проходу между штабелями.

А Безымянный стоял на штабеле. Наверху, под крышей. Он услышал их ещё у двери — и поднялся, и взял камень. Тёсаный, в две ладони, для кладки. Здоровой стороной. Правая сторона у него была здоровая.

Первого он ударил сверху по голове, когда тот проходил под ним.

Второй повернулся на звук — и получил второй камень в лицо. С трёх шагов. Безымянный бросал, как бросают камни те, кто полгода только и делал, что носил камни.

Юрген стоял за штабелем внизу. С ломом.

Ему не пришлось.

Они выбежали из сарая, когда колокол бил уже во всю мочь, и навстречу им бежал Ансельм — без фонаря, с порезанной рукой. За Ансельмом, из длинного дома, вывалились остальные — кривой, держась за лицо, и трое с ним, — и Ансельм крикнул: туда! И они побежали туда — не к воротам, к которым бежали шестеро, — а в другую сторону, к стройке, через леса, через пролом в недостроенной стене, где ещё не было ни окон, ни дверей, и в темноту за стеной.

За стеной было поле. За полем — лес.

Они бежали до леса. Добежали.

В лесу Ансельм упал на колени и долго не мог встать. Юрген стоял над ним с ломом. Безымянный стоял чуть в стороне и смотрел назад, на обитель, где били в колокол и где уже горели огни — в кельях, на звоннице, в трапезной, — и бегали люди.

Шестеро в шкурах — четверо — уходили по дороге на юг, верхом. Ансельм видел их маленькими, чёрными, на белом поле, при звёздах.

На юг.

— Они вернутся, — сказал Юрген. Это было первое, что он сказал за ночь.

— Вернутся, — сказал Безымянный.

Ансельм поднял голову.

Он первый раз слышал его голос. За полтора месяца в обители Безымянный не говорил ни с кем, кроме Юргена, и то тихо, в углу. А теперь сказал — одно слово, вслух, — и голос у него был ровный, хриплый, молодой. Совсем молодой.

— Нам велено к Сретению, — сказал Ансельм. — В Штальберг. Выходить после Богоявления.

— Выходим сейчас, — сказал Безымянный.

Ансельм посмотрел на обитель. На огни. На звонницу.

— Отец Бонифаций…

— Отец Бонифаций знает, — сказал Безымянный.

К рассвету они вернулись. Не в обитель — к задним воротам, к хлеву, и Ансельм пошёл один, а те двое остались в лесу.

Отец Бонифаций был во дворе. Стоял у длинного дома, в шубе поверх рясы, без шапки, и смотрел, как братья выносят мёртвых и кладут на снег в ряд. Шестеро с просеки. Брат Отфрид. Брат Ремберт, привратник. И двое в шкурах из сарая — их положили отдельно, у стены.

Ансельм подошёл.

Отец Бонифаций долго на него смотрел. Потом посмотрел на его руку, порезанную, замотанную подолом рясы.

— Где они? — спросил он.

— В лесу.

— Оба?

— Оба.

Отец Бонифаций помолчал. Ансельм видел его руки — широкие, с толстыми пальцами, и на правой, на ладони, у основания пальцев, — мозоль. Старая, жёлтая. Не как у книжника. Ансельм видел эту мозоль много раз, и никогда не думал, откуда она. Сейчас подумал.

— Восемь, — сказал отец Бонифаций. — В Невинных младенцев. Восемь у меня во дворе. В моём доме.

Он перекрестился.

— Мул в конюшне, серый, — сказал он. — Возьми. Хлеба на неделю. Денег… — Он полез под шубу, достал кошель, отсчитал, не глядя, сколько-то серебра, сунул Ансельму в здоровую руку. — Письмо к официалу я напишу сейчас. Пока седлают. Идите сейчас. Не после Богоявления. Сейчас.

— Отец…

— Сейчас, — сказал отец Бонифаций. — Они приходили за одним, Ансельм. Убили восьмерых, потому что не знали, за которым. В другой раз будут знать.

Он повернулся и пошёл к своей келье — писать. Широкий, тяжёлый, в шубе поверх рясы. У двери обернулся.

— Брату Зебальду глаза закрой перед уходом, — сказал он. — Если ещё не закрыли.

Брату Зебальду глаза закрыли уже. Он умер ночью, пока все бегали, один, в лечебнице, — и никто не слышал, хрипел он под конец или нет.

В Штальберге, в Ломбардском ряду, в доме с дубовой дверью, окованной железом в шесть полос, на второй день после того, как Скорев заплатил за грамоту, его принял банкир.

Скорев не надеялся, что примут. Он пришёл, чтобы посмотреть. Посмотреть на дверь, на ряд, на людей, которые входят и выходят, — и, может быть, договориться с приказчиком о том, чтобы его приняли через неделю. Он стоял у двери в волчьей шкуре, с замотанной рукой, с Каспаром за спиной, и чувствовал себя так, как, наверное, чувствовал бы себя лесной кабан на паперти.

Дверь открылась сама.

На пороге стоял молодой человек — тёмный, с маленькой бородкой, в синем, с пером за ухом и с ласковым лицом. Он посмотрел на Скорева так, будто ждал его давно и рад наконец дождаться.

— Господин Скореф? — сказал он, выговаривая по-лигуртийски, мягко, с «эф» на конце, как выдох. — Пьетро Ланца, приказчик дома. Его милость просит вас подняться.

— Его милость меня не знает.

— Его милость знает всех, кто приходит в Ломбардский ряд в волчьей шкуре, — сказал Ланца и улыбнулся. — Таких мало.

Они поднялись.

Внизу, в первой комнате, был прилавок — длинный, дубовый, отполированный руками до того, что в нём отражались свечи. За прилавком сидели трое, и перед каждым были весы — маленькие, медные, на подставках, с гирьками в коробочках, — и доски. Доски были расчерчены линиями, и по линиям лежали медные кружки, и писцы двигали кружки пальцами, быстро, щёлкая, как играют в шашки. Считали. Скорев остановился посмотреть — и Ланца, не останавливаясь, сказал: «Вверх, господин, вверх», — и они поднялись по узкой лестнице на второй этаж.

На втором этаже была комната с окном. В окне было стекло — настоящее, в свинцовых переплётах, круглыми кусками, как донышки бутылок, — и свет через него шёл зелёный и неровный. Перед окном стоял стол, и за столом сидел старик.

Старик был маленький, сухой, лысый, в чёрной бархатной шапочке на темени, в шубе на беличьем меху, которая была ему велика. Лицо у него было смуглое, морщинистое, острое, и глаза — чёрные, блестящие, как маслины, — двигались быстро, а всё остальное в нём было неподвижно. Перед ним на столе лежала такая же доска с линиями и кружками, и стоял стеклянный стакан — тоже настоящий, прозрачный, — и в стакане от воды шёл пар.

— Джакомо Бельканти, — сказал старик. — Садитесь, господин Скореф. Вина не предлагаю: я его не пью и не держу. Это горячая вода. Хотите?

— Нет.

— Правильно. Её никто не хочет. — Бельканти отпил. — Я пью её сорок лет. Мой врач в Портавере сказал мне: синьор Джакомо, вино в вашем возрасте — это яд, а вода — это вода. Я его послушался. Он умер двадцать лет назад. От вина. — Он поставил стакан. — Садитесь.

Скорев сел. Каспар остался у двери, рядом с Ланцей.

— Фабио писал мне о вас, — сказал Бельканти.

— Тревизо?

— Фабио Тревизо. Мой компаньон в Гербштадте. Мы тридцать лет пишем друг другу каждую неделю. — Бельканти смотрел на него маслинами. — В октябре он написал мне: приходил человек. Отставной солдат. Знает о шести закладных Хойзингера больше, чем следует знать отставному солдату. Я ему отказал. Если придёт к тебе — тоже откажи. — Он помолчал. — Но выслушай.

— И вы — выслушаете?

— Я — уже слушаю. — Бельканти сложил руки на животе. — Вы ведь не за деньгами. Вы пришли узнать цены. Я вам их скажу, потому что цены — это моё ремесло, и я не люблю, когда люди, которые продают, не знают, почём их товар. Это портит рынок.

Он подвинул к себе доску. Взял один кружок и положил его на верхнюю линию.

— Ваша голова, — сказал он. — В земле графства Дальхайм она стоит ничего. Вас объявили вне мира — вас берут даром. Это вы знаете. — Он положил второй кружок на линию ниже. — Здесь, в Штальберге, она стоит сто талеров. Амтман Кроненфельда Зигмунд Ребер внёс у меня позавчера, через своего человека, сто талеров в залог. На предъявителя. Кто принесёт мне вашу голову и человека, который её опознает, — получит у этого прилавка сто талеров полновесной монетой.

Скорев смотрел на кружки.

— Ребер, — сказал он. — Не ландфогт.

— Не ландфогт.

— Почему?

Бельканти улыбнулся. Улыбка у него была быстрая и пропадала сразу, как будто её и не было.

— Ландфогт не платит за головы, — сказал он. — Ландфогт платит за то, чтобы головы были на месте. Это разные деньги, господин Скореф. Их держат в разных сундуках.

Скорев подумал над этим. И не понял. И запомнил.

— Дальше, — сказал Бельканти. Он положил третий кружок. — Ваши тетради. Я их не видел. Но Фабио видел выписку из поземельной книги, которую вы заказывали у Эрлиха, — в Гербштадте нет тайн, есть только цена тайны, — и я знаю, что в одной из ваших тетрадей — расчёты дома Хойзингера. Вот за эту тетрадь, одну, я дал бы двести талеров. Не за все. За одну.

— Почему за одну?

— Потому что остальные мне не нужны. Уголь, поташ, люди на просеке — это для попов. Для консистории. Им интересно, кто держал христиан в цепях. Мне — неинтересно. Мне интересно, чьи деньги ходили через дом Хойзингера. — Он отпил горячей воды. — Это разные интересы. И разные цены.

— А если я скажу — чьи?

— Я знаю — чьи, — сказал Бельканти. — Мне нужна не правда. Правду я знаю. Мне нужна бумага, на которой эта правда написана. Это разное.

Он сдвинул кружки в сторону и сложил руки снова.

— И третье, — сказал он. — Его преосвященство епископ Штальбергский должен моему дому одиннадцать тысяч талеров. С процентами — больше. Новая крыша собора, война, которую вёл архиепископ и на которую его преосвященство давал копья, часы, — он кивнул в сторону окна, туда, где за крышами стояла башенка с круглым окном, — эти часы, господин Ско-

реф, стоили триста талеров, и я их оплатил. Его преосвященство платит мне проценты дважды в год. На Мартынов день и на Сретение.

Он посмотрел на Скорева.

— Кто держит бумаги в Штальберге, — сказал он, — держит епископа. А кто держит епископа — держит Штальберг. Я держу епископа уже двенадцать лет. Мне не нужен ещё кто-то, кто будет его держать. Понимаете?

— Понимаю. Вы хотите купить тетради, чтобы их не купил никто другой.

— Я хочу купить одну тетрадь, — поправил Бельканти. — И чтобы остальные лежали там, где лежат. Где бы это ни было.

Он улыбнулся снова — быстро — и снова перестал.

— Вы не продадите сейчас, — сказал он. — Я вижу. Вы пришли узнать цену. Вы её знаете. Двести — за тетрадь Хойзингера. Сто — за вашу голову, но это не ко мне, это к амтману. Когда решите — Пьетро знает, где меня найти. В любой день, кроме воскресенья.

Скорев встал.

У двери он остановился. Повернулся — всем телом.

— Ваша милость. Новые талеры. Дальхаймские. Видели такие?

Бельканти не пошевелился. Только маслины глаз остановились — на миг, — и снова побежали.

— Видел, — сказал он. — В этом городе их видели немногие. Я — видел.

— Где?

— Это, господин Скореф, — сказал Бельканти, — тайна моего прилавка. — Он взял стакан. — А что, у вас есть?

— Тридцать пять.

— Не носите их в Ломбардский ряд, — сказал Бельканти. — Здесь монету нюхают. Как собаки. Идите с Богом.

На улице, внизу, Каспар догнал его и пошёл рядом.

— Экселенц, — сказал он тихо. — Он сказал: позавчера. Ребер внёс позавчера. Через своего человека.

— Слышал.

— Позавчера — это двадцать седьмое. Рождество — двадцать пятое. Это значит, человек Ребера выехал из Кроненфельда в тот же день, как мы ушли за Ильму. Верхом. И прискакал раньше нас. С деньгами. — Каспар помолчал. — Сто талеров, экселенц. Амтман вас ценит.

— Амтман хочет назад свою руку.

— Это одно и то же, — сказал Каспар.

Соляной фактор кроненфельдской гильдии в Штальберге, Вигберт Зальм, принял их в тот же день, после полудня, у себя во дворе.

Двор был за Соляным рынком, большой, огороженный, с воротами на улицу и с воротами на задворки, и весь заставлен бочками. Бочки стояли штабелями, рядами, друг на друге, до самой крыши сарая — пустые, белые изнутри от соли, с выбитыми днищами, сложенными рядом, — сотни бочек. Пахло солью так, что щипало глаза.

Зальм был худой, суетливый, с длинной шеей, в сером кафтане, обсыпанном белым: соль въелась в сукно так, что он весь казался седым. Голос у него был высокий, скрипучий, как у несмазанной двери.

— Гильдия вас вычеркнула, — сказал он, не дослушав. — Мне писали. Старшина Ортлиб писал. Девяносто девять талеров вычеркнули — по указу господина ландфогта. Вы вне мира, а вне мира гильдия не платит. Это не я. Это указ.

— Знаю, — сказал Скорев.

— А бумагу вашу, — сказал Зальм, — гильдейскую, с мерой, «наёмный человек гильдии», — старшина велел вернуть. Мне велел взять у вас и отослать в Кроненфельд. Велено.

— Не верну.

Зальм заморгал.

— Как — не вернёте?

— Так. На бумаге подпись Ортлиба и мера гильдии в красном воске. Бумага говорит, что я — наёмный человек гильдии, с правом набирать людей и носить оружие. Подписана до указа. Указ её вычеркнуть не может: указ про меня, а не про бумагу. — Скорев посмотрел на бочки. — Бумага моя. Гильдия мне должна девяносто девять. Пока не отдаст — бумага у меня. Как залог.

— Но старшина…

— Старшина пусть напишет мне сам. Своей рукой. Тогда поговорим.

Зальм открыл рот. Закрыл.

Скорев не стал ждать ответа. Он смотрел на бочки. Бочек было много — больше, чем надо одному соляному двору зимой, когда соли с севера идёт мало, потому что дорога на Дрейвеге до самой Томасовой ночи стояла.

— Бочки чьи? — спросил он.

— Гильдейские, — сказал Зальм. — Порожние. Из-под соли. Соль продаём — бочки копим. Весной — назад, в Кроненфельд, под новую соль.

— Весной. А осенью — тоже назад?

— Осенью? — Зальм посмотрел на него. — Осенью отсылали, да. С обратными возами. Порожние. Порожняком возы идти не любят — бочки берут, чтобы не порожняком. Мы всегда так. А что?

— Ничего, — сказал Скорев.

Он не знал, почему спросил. Он смотрел на бочки, белые изнутри, с выбитыми днищами, — и не знал, что в них такого. Бочки как бочки. Порожние.

«Сжатия нет, — подумал он. — Значит, это не опасность. Это что-то, чего я не знаю».

Он подумал, что за три дня в Штальберге это уже третье, чего он не знает: Ранфт и новые талеры, Бельканти и новые талеры, — а теперь бочки. И что все три — про одно и то же, а он не видит — про что.

Они пошли назад, к собору, через Соляной рынок.

На рынке говорили. Скорев слышал обрывки: у Ильмы, в Мостовом, на святки порезали разбойников, шестерых, — проезжие порезали, говорят, какие-то калеки, одноногий да безрукий; а мостового сторожа, брата Тидемана, сорок лет на мосту, нашли во льду, — тоже, говорят, они; а говорят, не они, а волки из-за Ильмы, — оборотни, говорят, — потому что следы у моста не человечьи, а волчьи, с когтями, — три когтя, — Губерт рыжий видел и срисовал.

Скорев шёл и слушал, как его делают оборотнем. Три гвоздя в каблуке за два дня стали тремя когтями.

— Голова дорожает, — сказал он Каспару, — когда её несут через межу.

— Это он сказал? Бельканти?

— Нет. Это я сказал. Он сказал — сто.

— А вы — что?

— А я говорю: в Вельде я стоил тридцать. В Кроненфельде — пятьдесят. За Ильмой — ничего, даром. А здесь — сто. — Скорев посмотрел на собор, на две башни, одна выше другой. — Здесь всё вчетверо. Хлеб. Постой. И голова.

Каспар подумал.

— Тогда, экселенц, — сказал он, — нам надо отсюда уходить, пока вы не стали дороже, чем они готовы платить.

— Тогда они перестанут платить, — сказал Скорев, — и начнут брать даром. Как за Ильмой. Нет. Пока я стою денег — я живой. Дешёвых убивают, Каспар. Дорогих — торгуют.

Над собором ударили часы его преосвященства — раз, два, три, четыре, — сухо, тонко, как молотком по наковальне.

До Сретения оставалось тридцать пять дней.

В Мариенхофе в это время, во дворе, лежали в ряд восемь мёртвых, и снег на них не таял.

Но этого Скорев не знал.

Глава четвёртая. Три гвоздя

Весы Пауль принёс с Соляного рынка. Взял на день у торговца солью за крейцер — маленькие, медные, на подставке, с чашками, похожими на две ладони, и с коробочкой гирек. Гирьки были стёртые, но торговец божился, что верные, и клеймо на них стояло городское, башня со звездой.

Скорев сел на лавку у окна, в галерее Пилигримова двора, где было светлее всего, и поставил весы на подоконник.

Из пояса он достал свой талер. Старый, полновесный, с толстым господином на одной стороне и с орлом на другой, — один из тех четырёх, с которыми он когда-то очнулся в канаве под дождём. Положил на левую чашку.

Потом открыл сундук, разрезал ножом пломбу на одном из свёртков — свинцовую, с двумя сплетёнными буквами, — и развернул.

Пять талеров. Новых. Одинаковых, как пять капель. Блестели так, что в сером свете из окна казались мокрыми. На одной стороне — лев, вставший на задние лапы, с поднятым хвостом. На другой — крест, и по кругу буквы. Насечка на ребре — свежая, острая, палец режет.

Он взял один. Положил на правую чашку.

Чашки качнулись — и встали ровно.

Он смотрел. Ровно. Ни волоса.

Он поменял — новый на левую, старый на правую. Ровно.

Взял второй новый. Ровно. Третий. Ровно.

— Вес тот же, — сказал Пауль, который стоял рядом и смотрел.

— Тот же.

Скорев взял новый талер и прикусил. Зубами, боковыми, как кусают монету менялы и бабы на рынке. Не мягкий. Не гнётся. Взял старый, прикусил. Так же.

Он положил оба на ладонь. Поднял ладонь. Подержал. Одинаково.

Потом бросил старый талер на каменный подоконник. Талер звякнул — коротко, чисто, высоко, — подпрыгнул и лёг.

Бросил новый.

Новый звякнул.

Скорев замер, слушая. Бросил ещё раз. И ещё.

— Звенит так же, — сказал Пауль.

— Почти, — сказал Скорев.

— Почти?

— Почти так же.

Он не знал, как это сказать. Звон был тот же — и не тот. Короче на что-то, что не назовёшь. Как бывает, когда стучишь по стене и слышишь, где за штукатуркой пустота, — но тут пустоты не было, тут было наоборот: где-то внутри было что-то не то, что должно быть.

Он бросил ещё раз. Звякнуло.

Нет. Он не мог сказать. Может, ему казалось. Он слишком хотел услышать.

— Вес тот же, — повторил он медленно. — На зуб — то же. На глаз — лучше. Красивее нашего. Звон — почти.

— Значит, хорошая монета, — сказал Пауль.

— Значит, монета, которая проходит все проверки, какие тут есть, — сказал Скорев. — Вес, зуб, звон.

Он завернул пять талеров обратно в бумагу. Пломбу — разрезанную — положил рядом, в сундук. Свёртков под целыми пломбами осталось шесть.

«Если бы она не проходила, — подумал он, — никто бы за неё не убивал. Убивают за то, что проходит».

Утром последнего дня года его позвали в консисторию.

Звали, как было сказано в грамоте, — в тот же день. Служка в чёрном пришёл к Пилигримову двору, постучал в ворота, сказал: господина именующего себя — к официалу. И его людей, которые в волчьих сапогах. Всех, сколько есть.

— Сколько есть, — повторил Скорев. — Мальчишки пришли, знаешь?

— Его преподобию сказали, — ответил служка. — Сироты. Пришли к Шпиталю. Велено и их.

Пошли вшестером: Скорев, Тиль, Ханс, Клаус, Ханно и Каспар — Каспар потому, что без Каспара Скорев к бумажным людям больше не ходил. Ханно оставил собаку во дворе. Собака легла у ворот и смотрела ему вслед, не шевелясь.

В комнате Ранфта было тесно. Ранфт сидел за столом. У стены стоял Кранц — без копья, в красном плаще, с бляхой. Рядом с ним — рыжий Губерт, широкий, со своей восковой дощечкой в руках. Он держал её так, как держат икону.

— Сапоги, — сказал Ранфт вместо приветствия.

Скорев кивнул Тилю. Тиль снял правый сапог и поставил на стол. Ханс снял. Ханно снял. Клаус сел на пол — нога у него ещё не прошла — и снимал долго, морщась.

Четыре сапога стояли на столе каноника, на бумагах, на деле о двадцати девяти. Грязные, тупоносые, с толстой подошвой. От них пахло снегом, конюшней и чужим потом.

Губерт подошёл и положил рядом дощечку.

Ранфт посмотрел на дощечку, на сапоги. Потом взял один — Тилев — двумя пальцами, как берут дохлую крысу, и перевернул подошвой вверх.

В каблуке, по углам треугольника, сидели три гвоздя. Шляпки стёртые, блестящие.

Ранфт поставил сапог рядом с дощечкой. Посмотрел. Перевернул Хансов. Тоже три. Ханнов. Три. Клаусов. Три.

— Одна рука, — сказал Ранфт. — Один сапожник.

— Один, — сказал Скорев. — Рота Штумпфа. Сорок человек. Сорок пар. Шил один мастер в Кроненфельде, на Кожевенной, где-то у реки. Гильдия его искала — не нашла.

— А у вас откуда?

— С мёртвых. Под Кроненфельдом, в овчарне, в ноябре. Мы их положили — мы с них сняли. Зимой мёртвым сапоги ни к чему.

— Четыре пары.

— Четыре пары у меня. — Скорев смотрел на Ранфта. — Позвольте, я посчитаю, ваше преподобие. Вслух. Чтобы капитан слышал.

Ранфт сделал белой рукой жест, который мог значить что угодно. Скорев понял его как «считай».

— Сорок волков, — сказал он. — Было сорок, в ночь на Томаса. Пятнадцать висят на трёх столбах у Дрейвеге, поперёк дороги, — капитан, вы, наверное, слыхали. Висят в сапогах. Двадцать четыре — в земле, в снегу, в пруду, в погребе. Те — кто в чём лёг. Это тридцать девять. С одного — Бернт, у меня, — сапоги на нём свои, не ротные: он сменил ещё в ноябре. Сорок.

Он помолчал.

— А до Томасовой ночи, — сказал он, — из роты ушли двое. Совсем, с конями. Бернт говорил. Это было за неделю до Томаса. И ещё — в Томасову ночь, у брода, — один ушёл под лёд. Его не нашли. Значит, может быть, он не утонул. — Он посмотрел на Губерта. — Вот этих троих — ищите. Тех, кто ушёл в сапогах и кого никто не хоронил.

— Это ваши слова, — сказал Ранфт.

— Это мой счёт. Слова у меня кончились, ваше преподобие, когда горло сорвал. Остался счёт.

Губерт смотрел на сапоги. Потом на Клауса, который сидел на полу босой на одну ногу, с опухшей лодыжкой, и смотрел снизу на каноника круглыми глазами.

— Мальчишка на костыле, — сказал Губерт, ни к кому не обращаясь. — Полдня до моста. Ночью. По снегу.

— Я бы не дошёл, — сказал Клаус. — Я в лесу три дня шёл. С Ханно. Ханно меня тащил.

Кранц у стены кашлянул.

— Ваше преподобие, — сказал он. — Мальчишки ушли из Мостового, когда там резали. Это ночью. А Тидеман во льду — утром нашли, лёд стал за ночь. По времени — в одну ночь. Но мост — полдня назад. Пешим — больше.

— Вы это говорили, капитан.

— Говорил. Повторяю.

Ранфт молчал. Песок в часах на столе тёк. Скорев смотрел на песок и думал, что Ранфт, наверное, уже всё решил — до того, как они вошли. Что он позвал их не за тем, чтобы решить, а за тем, чтобы посмотреть. На сапоги. На мальчишек. На него.

— Хорошо, — сказал наконец Ранфт. — Обувайтесь.

Тиль, Ханс, Ханно сняли сапоги со стола. Клаус — с пола — тянул руку, и Ханно подал ему его сапог.

— Капитан, — сказал Ранфт, не поворачивая головы. — Запишите, что брат Тидеман, мостовой сторож, найден в Ильме под мостом. Что он, по всему видать, поскользнулся на льду у быка, ночью, идя от мытни к будке, ударился головой о камень быка и упал в полынью.

Кранц не шевельнулся.

— Он не пил, ваше преподобие, — сказал он.

— Я не сказал, что пил. Я сказал — поскользнулся. Лёд скользкий. Это бывает и с непьющими.

— А талер?

Ранфт поднял на него серые глаза.

— Какой талер, капитан?

— Тот, что он хвастал. Новый. Кошель был завязан. Талера в нём не было.

— Талер, — сказал Ранфт ровно, — мог выпасть из кошеля в мытне. В корчме. В будке. Мог его брат Тидеман отдать в обитель на свечу, как отдавал всё, что ему давали сверх положенного: сорок лет отдавал. Мог его кто-то подобрать. Талер — не человек, капитан. Талер не имеет значения.

Кранц стоял.

— А следы?

— Следы, — сказал Ранфт, — оставил кто-то из тех троих, кого господин Скореф велит искать. Или кто-то ещё. Кто-то ходил под мостом. Под мостом ходят многие — летом там рыбу ловят, зимой — проверяют лёд. Следы не убивают людей. Люди убивают людей. А людей тут нет. Есть сторож, который упал. — Он придвинул к себе лист. — Запишите — поскользнулся. Брат Губерт — простите, сержант Губерт, — дощечку оставьте мне. Я приложу к делу.

Губерт посмотрел на Кранца. Кранц не смотрел ни на кого. Губерт подошёл к столу и положил дощечку перед Ранфтом. Ранфт накрыл её белой рукой, не глядя, и подвинул в сторону, к стопке.

Перстень с виноградной кистью стукнул о воск.

— Вы свободны, господин Скореф, — сказал Ранфт. — И вы, капитан.

На улице, у ступеней консистории, Кранц остановился, и Губерт рядом с ним. Скорев тоже остановился — он видел, что Кранцу надо что-то сказать.

Кранц смотрел на собор.

— Сорок лет, — сказал он наконец. — Сорок лет на мосту. Мой отец ещё ему мостовщину платил, когда я мальчишкой с ним ездил. Тидеман нам яблоко давал. Всегда яблоко. Зимой — сушёное.

Он помолчал.

— Поскользнулся, — сказал он. И сплюнул на ступени консистории.

Потом надел шапку и пошёл прочь. Губерт — за ним. Губерт оглянулся только раз — на сапоги Ханса.

Каспар подошёл к Скореву, стал рядом.

— Экселенц, — сказал он тихо. — Официал закрыл дело. Само по себе — ладно, закрыл: дела закрывают каждый день, бумаги не резиновые. Но он закрыл его так, чтобы в деле не было талера. Вы слышали? «Талер не имеет значения». — Каспар помолчал. — Я двенадцать лет при суде. Когда судья говорит, что что-то не имеет значения, — значит, это единственное, что имеет.

— Слышал.

— Значит, ему тоже нужно, чтобы про новую монету никто не спрашивал. Как тому, на мосту.

— Не значит, — сказал Скорев. — Может значить. Может, ему просто не нужно лишнее дело к Сретению. Он казначей. У него проценты.

— А может, значит.

— А может.

Они пошли к Пилигримову двору.

Скорев шёл и думал о том, что за пять дней в этой земле он дважды слышал от двух разных людей одно и то же: «новые в епископской земле не ходят» и «талер не имеет значения». И оба раза — от одного и того же человека. Ранфт не ходит на мост в волчьих сапогах. Ранфт пишет, сидя у жаровни, и не повышает голоса. Ранфт закрыл дело, которое закрыть было выгодно ему, — или которое закрыть велел кто-то, кому было выгодно. Или просто закрыл.

Он не знал.

Убийце на мосту нужен был не кошель, не медь, не старый Тидеман. Нужен был новый талер. Один. Тот, что прошёл по рукам за межу и мог пройти дальше. Кто-то не хотел, чтобы новая монета Дальхайма ходила по земле епископа. Кто-то пошёл ночью через мост, чтобы забрать одну монету у старика, который сорок лет давал детям яблоки.

Почему — Скорев не знал.

Он знал только, что монета проходит вес, зуб и звон. Почти.

Новый год в Штальберге встречали не так, как в Вельде.

В Вельде, Скорев помнил смутно, — отставной солдат помнил, — в Новый год пили и спали. Здесь пили и не спали. Весь последний вечер года по городу ходили люди — толпами, с факелами, с барабанами, с трещотками, с колокольцами на палках, — и пели под окнами, и стучали в двери, и им выносили — кому пряник, кому кружку, кому крейцер. Мальчишки бегали по улицам и кричали что-то про старый год, который надо выгнать. Колокола собора звонили перебором, не переставая. На Соляном рынке жгли костёр. Огней в небо не пускали — их тут не знали, и Скорев, глядя на костёр, вспомнил, как в той жизни в Новый год небо над городом лопалось от ракет, и поймал себя на том, что ищет их глазами.

Ракет не было. Были факелы, барабаны и колокола.

«Шумно, — подумал он. — Хорошо, что шумно. Кто захочет кричать — его не услышат. Плохо, что шумно. По той же причине».

Он сидел в галерее Пилигримова двора и считал.

Сундук. Восемьдесят общих — нет, уже меньше: грамота, постой, дрова, конюшня, пошлина в воротах — это из пояса, свои. Из общих он не тронул ни крейцера. Пояс: тридцать своих было за Ильмой. Минус десять с половиной — грамота. Минус четыре с лишним —

постой и дрова на неделю. Минус полтора — конюшня. Полталера — хозяину в Мостовом, полталера — на попа там же, талер — хозяину за правду. Пятнадцать — нет. Он пересчитал. Двенадцать талеров с мелочью.

Двенадцать своих. И восемьдесят общих, которые по солдатскому закону — не его.

И шесть свёртков под целой пломбой, тридцать талеров, которые не деньги. И один распечатанный — пять новых, которые не ходят.

«За неделю за Ильмой — восемнадцать талеров, — подумал он. — Десять с половиной из них — грамота. Без грамоты — пять с лишним в неделю, если ничего не случится. До Сретения — ещё тридцать. Это если никого не нанимать. А нанимать надо: их больше, а у меня одна рука. Не хватит. Не хватит, даже если продам всё, что есть, кроме бумаг».

Он подумал о Бельканти. Двести за тетрадь Хойзингера. Двести — это до Сретения с запасом. Это наёмные. Это крыша. Это…

Это значит — отдать тетрадь человеку, который держит епископа и не хочет, чтобы его держал кто-то ещё.

Он не стал думать дальше. Он встал.

— Клещ, — сказал он. — Пауль. Бернт.

Клещ поднялся с лавки на костыль. Бернт — с пола у очага. Пауль — откуда-то сбоку; Пауль всегда оказывался сбоку, и никто не помнил, как он туда попал.

— Пойдём на конюшню, — сказал Скорев. — Глянем коней. На Новый год конюхи пьют. Кони стоят некормленые.

— На ночь глядя? — сказал Клещ.

— На ночь глядя.

Клещ посмотрел на него. Долго. Потом кивнул — и ничего не спросил.

Городская конюшня стояла за Соборной свободой — от Пилигримова двора надо было пройти через ворота Свободы, без створок, и потом вниз по узкой кривой улице, мимо задов каких-то домов, и через переулок, — шагов четыреста. Днём это была короткая дорога. Ночью — тёмная. Факелы в этот переулок не заходили.

Ножей в Соборной свободе носить было нельзя. Так было в грамоте, с воском и ключами.

Скорев носил нож за голенищем. Всегда. Грамота грамотой.

Клещ шёл на костыле. Костыль был с шипом, а костыль — это не оружие, это нога. Бернт подобрал у ворот Свободы кол — из тех, что стояли у коновязи, — и нёс его на плече, как несут дрова. Пауль нёс фонарь и свою дубину, обмотанную тряпкой, — дубина, сказал он, это не оружие, это дрова.

Они вышли из ворот Свободы. Пошли вниз.

На середине переулка Скорева сжало.

Резко. Под грудиной. Коротко — и сразу отпустило, — и снова сжало, и держало.

Он остановился.

— Стой, — сказал он. Сипло. Тихо.

Клещ встал. Бернт встал. Пауль встал и поднял фонарь.

— Свет — вниз, — сказал Скорев.

Пауль опустил фонарь. Переулок стал темнее.

Впереди, шагах в двадцати, где переулок поворачивал, в темноте, у стены — ничего. Стена. Дверь чьего-то заднего двора. Сугроб. Скорев смотрел и ничего не видел. А сжатие держало.

Сзади — так же: стена, сугроб, темнота. Ворота Свободы далеко вверху, там горел факел, и в свете факела никого не было.

«Сверху, — подумал он вдруг. — Или из двери».

Дверь заднего двора впереди открылась.

Их было пятеро. Вышли быстро — один, второй, третий, — и сразу врозь, по стенам, чтобы не мешать друг другу. Двое — с короткими мечами. Один — с топором. Двое — с дубинами. Впереди — невысокий, широкий, в рябых от оспы щеках, и, когда он оскалился, у него во рту, спереди, не было зубов.

Скорев узнал его сразу.

Корнель.

Корнель, который в «Чёрном быке» — Липпольд сказал на мосту — был зарезан вместе со Шмальцем в ночь, когда погиб Мерк. Корнель, которого он видел последний раз в Кроненфельде, в сарае, где жили Липпольдовы, — рябой, без передних зубов, с хорошим ножом. Корнель был жив и стоял в пятнадцати шагах, с мечом.

И рядом с ним — второй, длинный, с белёсыми бровями, — Шмальц.

Тоже живой.

«Липпольд солгал, — подумал Скорев. Быстро, холодно, ни к чему: сейчас было не до того. — На мосту. Сказал: Корнеля и Шмальца — сразу. А они здесь».

— Старик, — сказал Корнель. Шепелявил: без зубов. — Липпольдов старик. Ну, здравствуй.

— Здравствуй, — сказал Скорев. — Мне сказали, ты помер.

— Липпольд сказал? — Корнель оскалился. — Липпольд много чего говорил. Липпольд утоп. А я — вот.

— Чего хочешь?

— Голову твою, — сказал Корнель просто. — Сто талеров у менялы. Мне. Липпольд мне должен был за полгода — я теперь беру с тебя.

Он пошёл вперёд.

Скорев нагнулся и вынул нож из-за голенища.

Нож был короткий, в ладонь. Против меча.

Бернт сбросил кол с плеча и встал справа. Клещ — слева, к стене, на костыле. Пауль поставил фонарь на снег и взял дубину двумя руками.

Корнель ударил первым — мечом, сверху, — и Скорев ушёл не назад, а вбок, к стене, — меч прошёл мимо, — и ударил ножом снизу в руку, держащую меч. Попал. Не глубоко. Корнель зашипел и отскочил.

Бернт колом встретил того, что с топором. Кол длиннее топора. Бернт ткнул его колом в грудь, как копьём, — тот отлетел, — и Бернт ударил его второй раз, по голове, сверху, кол хрустнул. Тот упал.

Клещ стоял у стены. На него шёл один с дубиной. Клещ дал ему подойти — и ударил костылём снизу, шипом, в колено, а когда тот согнулся — второй раз, в лицо.

Пауль дрался со вторым дубинщиком — дубина на дубину, как дерутся в кабаке, — и проигрывал: тот был больше.

Шмальц обходил Скорева сбоку. С мечом.

Скорев видел Шмальца углом глаза. Шея не поворачивалась. Чтобы посмотреть на Шмальца — надо было повернуться всем телом, а повернуться всем телом — значило подставить бок Корнелю.

Он не повернулся.

Сжатие держало, не отпуская.

«Сейчас, — подумал он. — Сейчас, с той стороны, куда я не смотрю».

И тут из темноты, сзади Шмальца, — из-за угла, из того сугроба, на который Скорев смотрел и не видел ничего, — вышли двое.

Тихо. Без крика. Без шума. Двое в тёмных плащах до пят, в шапках, надвинутых на глаза. Один подошёл к Шмальцу сзади — Шмальц его не слышал, Шмальц смотрел на Скорева, — и сделал что-то рукой у Шмальцева горла. Коротко. Как режут курицу.

Шмальц выронил меч и сел в снег.

Второй подошёл к тому, кто дрался с Паулем, — тот обернулся, — и ударил его ножом под рёбра. Раз. И ещё раз. Тот упал на Пауля.

Корнель увидел. Глаза у него стали белые.

Он не стал ждать. Он развернулся и побежал — вниз по переулку, за поворот, туда, откуда переулок выходил к Соляному рынку, где жгли костёр и пели. Скорев рванулся за ним — шаг, другой, — колено подломилось, и он упал на одно колено в снег.

Корнель исчез.

Скорев поднялся. Повернулся — всем телом.

Двое в плащах стояли над Шмальцем. Один нагнулся и вытер нож о Шмальцеву куртку. Деловито, как вытирают нож после хлеба.

Сжатия не было.

Скорев понял это не сразу. Он стоял, держа в правой руке нож, и ждал, что сожмёт, — что эти двое, которые только что зарезали двоих быстрее, чем он успел повернуться, — сейчас повернутся к нему. А не сжимало. Под грудиной было пусто и тихо. Как будто этих двоих тут не было.

— Кто вы? — сказал он.

Двое не ответили.

Тот, что вытирал нож, выпрямился. Посмотрел на Скорева — Скорев не видел его глаз под шапкой, видел только подбородок, бритый, — и кивнул. Коротко. Как кивают знакомому на улице.

И оба пошли. Не быстро. Вверх по переулку, к воротам Свободы, — мимо Клеща, который стоял у стены, держа костыль шипом вперёд, — мимо Бернта с колом. Клещ не ударил. Бернт не ударил. Они прошли между ними, как проходят между столбами, — и свернули в какой-то проход между домами, которого Скорев не заметил, когда шёл вниз.

И их не стало.

В переулке было тихо. Наверху, у Соляного рынка, пели. Колокола звонили перебором.

На снегу лежали четверо.

Скорев посчитал. Тот, кого Бернт колом. Тот, кого Клещ костылём. Шмальц — горло. Тот, что на Пауле, — под рёбра.

Четверо. Двое — наши. Двое — чьи?

Пауль выбрался из-под мёртвого. Встал, держась за стену. Лицо у него было в крови — не своей.

— Это кто был? — сказал он. — Эти двое?

— Не знаю.

— Они ж наших… то есть ихних… — Пауль сбился. — Они за нас были?

— Не знаю, — сказал Скорев.

Клещ подошёл на костыле. Остановился над Шмальцем. Посмотрел.

— Чисто, — сказал он. — Одним движением. Слева направо. Так режут те, кто режет не первый год. — Он посмотрел вверх, на проход, куда ушли двое. — Это не городские. Городские так не умеют. Городские дерутся дубинами.

— Не городские, — согласился Скорев.

— Тогда чьи?

Скорев не ответил.

Он стоял посреди переулка, в снегу, с ножом в руке, и думал.

Его хотели убить. Пятеро. За сто талеров у Бельканти, которые внёс Ребер. Корнель сказал — голову. Корнель врать не стал: зачем врать человеку, которого сейчас убьёшь.

И его не убили. Потому что пришли двое и убили тех, кто хотел.

Двое, на которых не сжало.

Сжатие было, пока были Корнель и Шмальц. Когда пришли двое — оно не усилилось. Не дёрнулось. Оно просто осталось — на Корнеля, — а когда Корнель убежал, — ушло совсем. Как будто двоих в плащах для него не существовало.

Дар молчит о том, что ему не грозит. Он это знал. Дар молчит, когда тот, кто рядом, — не хочет тебя убить.

Значит, двое в плащах не хотели его убить.

Значит, они хотели, чтобы он жил.

— Меня кто-то бережёт, — сказал он вслух.

Клещ посмотрел на него.

— Это хуже, — сказал Скорев, — чем когда убивают.

— Почему?

— Потому что когда убивают — понятно, зачем. А когда берегут…

Он не договорил.

Они вернулись в Пилигримов двор, не дойдя до конюшни. Кони остались некормленые. Мёртвых Скорев оставил в переулке: в Соборной свободе убивать было нельзя, а переулок был уже не Свобода, переулок был город, и пусть город и считает. Он только обшарил Шмальца — быстро, пока Бернт и Пауль стояли по краям, — и нашёл у Шмальца в поясе четыре талера.

Новых.

Четыре новых талера, без единой царапины. Насечка на ребре — свежая, острая.

Он подержал их на ладони и отдал Паулю.

— Положи в сундук, — сказал он. — Отдельно. Не в общие.

Каспар ждал в галерее. Не спал. Увидел кровь на Пауле, увидел лицо Скорева — и ничего не спросил, пока Скорев сам не сел на лавку и не рассказал. Коротко. Корнель. Шмальц. Пятеро. Двое в плащах.

Каспар слушал, склонив голову набок, как слушает птица.

— Должнику, — сказал он, когда Скорев кончил.

— Что?

— Должнику, экселенц. Так бывает. Должника берегут. Кто дал в долг, тот следит, чтобы должник не помер до срока. Пока не отдал — пусть живёт. Я при суде видел: заимодавец ночью сторожа нанимал, чтобы должника не зарезали в кабаке. Сам потом в суд тащил. Но — живого.

— Я никому не должен столько, — сказал Скорев. — Чтобы ради меня резать людей в переулке.

— Финку должны, — сказал Каспар. — Четыре и сверх, за горжет. Аарону. Михелевой вдове.

— Финк за четыре талера не пришлёт двоих из Гербштадта, чтобы они резали Шмальца в Штальберге. — Скорев помолчал. — Тот, кто бережёт, бережёт не потому, что я ему должен. А потому, что я ему нужен. Живым. Для чего-то.

— Для чего?

— Не знаю.

Он сидел и смотрел на руку. На три пальца в тряпке.

— Тот, кто платит за голову, — сказал он, — платит, чтобы я был мёртвым. Это Ребер. Это понятно. Ребер хочет назад свою руку, и печатку, и писаря. Понятно. А кто платит за то, чтобы я был живым?

Каспар молчал.

— Бельканти сказал, — вспомнил Скорев. — Ландфогт не платит за головы. Ландфогт платит за то, чтобы головы были на месте.

— Ландфогт?

— Не знаю. Он сказал — разные деньги. Разные сундуки.

— Ландфогт объявил вас вне мира, — сказал Каспар. — Ландфогт хочет вашу голову больше всех.

— Ландфогт написал своей рукой, что твоя бумага подлинная, — сказал Скорев. — Чтобы меня привезли сюда. Живым. Со всем, что при мне.

Каспар открыл рот — и закрыл.

Они сидели и молчали. На Соборной свободе звонили колокола. Год кончался.

Пауль вошёл тихо, как входил всегда.

— Корнель, — сказал он. — Я пошёл следом. После. Когда вы ушли. Он был у костра на рынке, руку тряпкой мотал. Потом пошёл — за рынок. В ворота. Во двор, где бочки.

— Какой двор?

— Соляной. Где седой, скрипучий. Там у задних ворот его впустили. Без стука. Ждали.

Скорев посмотрел на Каспара.

— Зальм, — сказал Каспар.

— Двор Зальма, — сказал Скорев. — Гильдейский двор. Где бочки.

Он подумал о бочках — сотнях пустых бочек, белых изнутри, с выбитыми днищами, сложенных до крыши сарая. Он думал о них два дня и не понимал. Теперь там прятался Корнель, который хотел за сто талеров его голову.

Нет. Не прятался. Его там ждали. Без стука.

— Значит, Ребер — там, — сказал Скорев. — Или его люди. В гильдейском дворе. В Штальберге.

— Гильдия кроненфельдская, — сказал Каспар. — Гильдия под ландфогтом. Гильдия вас вычеркнула. Где же ещё прятаться людям амтмана.

Скорев кивнул.

Колокола на соборе ударили — не перебором, а все разом, — и заиграли что-то длинное, медленное, торжественное. Новый год. Внизу, на Соляном рынке, закричали — далеко, глухо, сквозь стены.

— С Новым годом, экселенц, — сказал Каспар.

— С Новым.

— До Сретения тридцать два, — сказал Каспар.

— Тридцать два, — согласился Скорев.

Он сидел и думал, что за шесть дней в земле епископа его чуть не убили дважды, а спасли один раз — и что он не знает, кто спас. Что монета, за которую убили сторожа, проходит вес и зуб. Что официал консистории закрыл дело так, чтобы в нём не было монеты. Что амтман внёс за его голову сто. И что кто-то, у кого есть двое в плащах, которые режут быстрее, чем он поворачивается, — не хочет, чтобы он умер.

Пока.

Утром в переулке нашли четверых. Город посчитал. Записали: новогодняя драка, пьяные, свои своих. Никого не искали.

Кранц пришёл к обеду. Постоял в воротах Пилигримова двора. Посмотрел на Скорева.

— Четверо в переулке, — сказал он.

— Слышал, — сказал Скорев.

— Двое — колом и чем-то острым снизу. Двое — ножом. Чисто. — Кранц помолчал. — Не вашей рукой. Ваша — одна, и вы ею бьёте некрасиво. Я видел в Мостовом.

— Не моей.

— А чьей?

— Не знаю, капитан. Честно. Не знаю.

Кранц посмотрел на него ещё. Потом кивнул.

— Это город, — сказал он. — Переулок — город. Не моё. — Он повернулся уходить. Остановился. — Господин Скореф. В Свободе нож за голенищем — нельзя.

— Знаю.
— Я тоже знаю, — сказал Кранц. — Что вы знаете.
И ушёл.

Глава пятая. Вода и нитка

Мангольд пришёл сам. На второй день нового года, утром, когда в Пилигримовом дворе ещё не растопили очаг и на галерее было так холодно, что дыхание висело в воздухе.

Брат-мирянин, хромой, лысый, приковылял к Скореву и сказал: во славу Божию, к вам господин. Торговый. Спрашивает того, кто дал мостовому сторожу новый талер.

— Так и спрашивает?

— Так и спрашивает, — сказал брат. — Говорит: весь Штальберг знает, что сторож хвастал. Говорит: хочу видеть того, кто дал.

Скорев вышел.

У ворот стоял человек. Толстый — не рыхлый, а плотный, как бочка, — в буром сукне, простом, без меха, без шитья, в бурой шапке, в сапогах, которые стоили, наверное, больше, чем весь остальной его наряд. Лицо круглое, бритое, красное от мороза. Глаза маленькие, голубые, сонные. На руках — ни одного перстня. Скорев заметил это сразу: в Штальберге за пять дней он не видел ни одного торгового человека, у которого не было бы перстня. У этого — не было. Руки были голые, короткопалые, чистые.

За ним стояли двое слуг, тоже в буром. С пустыми руками.

— Мангольд, — сказал толстый. — Торговый человек. Из Аренсберга.

— Скореф.

— Знаю. — Мангольд кивнул на руку в тряпке. — Вас по руке узнают. И по шкуре. Можно войти? Я старый, у меня мёрзнут ноги, а разговор, может, будет не короткий.

Скорев провёл его на галерею. Мангольд сел на лавку, на которую ему показали, — тяжело, с выдохом, — и вытянул ноги в дорогих сапогах.

— Я собираю монеты, — сказал он. — Так вышло. Сорок лет торгую сукном и воском, а люблю монеты. Старые, новые, наши, чужие. У меня их — сундук. Два сундука. — Он улыбнулся, и лицо стало ещё круглее. — Когда я услышал, что мостовому сторожу на Ильме дали новый талер Дальхайма и что такого никто в Штальберге не видел, — я подумал: хочу. И пришёл.

— Сторожа убили, — сказал Скорев.

— Слышал. — Мангольд перестал улыбаться. — Говорят, поскользнулся.

— Говорят.

— А вы что говорите?

— Я говорю, что талера при нём не нашли.

Мангольд посмотрел на него. Сонные голубые глаза вдруг стали не сонные. Ненадолго — на вздох. Потом опять.

— Вот, — сказал он. — Вот поэтому я и пришёл. Покажите.

Скорев принёс из сундука распечатанный свёрток. Развернул. Пять новых талеров легли на лавку между ними, как пять рыбок, вынутых из воды.

Мангольд не стал брать сразу. Он смотрел. Наклонился, приблизил лицо, почти коснулся носом. Потом достал из-за пазухи маленькое стекло в медной оправе, на цепочке, — Скорев такого не видел ни разу за обе жизни, а нет, видел, в той жизни видел, у часовщиков, — и стал смотреть через стекло. Долго. Переворачивал монету ногтем, не касаясь пальцами.

— Лев, — сказал он. — Лев Дальхайма. Хвост вверх. Буквы — «Вольфганг, граф Дальхаймский». Крест. Год. — Он поднял глаза. — Чеканено в этом году. Летом. Или осенью. Штемпель новый, ни одной трещины. Насечка ровная. Мастер знает дело.

— Вольфганг, — сказал Скорев.

— Молодой граф. Шестнадцать лет. — Мангольд всё смотрел через стекло. — На монете — его имя. Монетный двор — его. Чеканит — дядя. Это обычно. Так все делают, когда наследник мал.

Он отложил стекло.

— Сколько хотите?

— За что?

— За одну. Одну монету. Мне в сундук.

Скорев подумал.

Он думал о Тидемане, у которого взяли одну монету и разбили голову. Он думал о Ранфте, который хотел все тридцать пять — по весу, старыми. Он думал о Бельканти, который сказал: не носите их в Ломбардский ряд, здесь нюхают. Он думал, что все хотят эту монету — и никто не говорит, зачем.

— Цехин, — сказал он.

Он сказал это нарочно. Цехин — золотой, двадцать шесть талеров. За один серебряный. Он ждал, что Мангольд засмеётся.

Мангольд не засмеялся. Он полез в кошель — бурый, кожаный, тощий на вид — и вынул оттуда жёлтое. Положил на лавку рядом с талерами.

Цехин. Золотой. Тонкий, мягкий, с чужим святым на одной стороне и с чужим львом на другой. Он лежал на лавке и светился, как кусок масла на солнце.

Скорев посмотрел на цехин. Потом на Мангольда.

— Самый дорогой талер на свете, — сказал Мангольд и взял один из пяти. Положил в кошель. — Беру. Вы бы взяли больше — я бы дал. Не спросили.

— Почему?

— Потому что я хочу знать, — сказал Мангольд, — почему за такой талер убивают сторожей. А вы, мне кажется, хотите того же. А мне кажется, что вы узнаете раньше меня. Потому что вы в этом деле — а я снаружи. — Он вытянул ноги ещё дальше. — Цехин — это задаток. Не за талер. За то, что вы мне потом расскажете.

Скорев долго молчал.

Потом встал, пошёл в комнату и принёс весы — те, Паулевы, с Соляного рынка, ещё не отданные, — и две глиняные кружки, и кувшин воды из колодца, и моток суровой нитки от Каспара.

Мангольд смотрел на всё это с любопытством.

— Вчера я их вешал, — сказал Скорев. — Ваш новый и мой старый. Вес один. На зуб — одно. Звон — почти. — Он поставил весы на лавку. — Вес врать не может. А монета врёт. Значит, врёт не вес. Врёт что-то другое.

Он взял четыре новых талера, которые остались, и связал их ниткой, крест-накрест, в столбик — так, чтобы висели, не рассыпаясь. Достал из пояса свои — старые, разные, свои и из общих, — выбрал четыре и связал так же.

Повесил оба столбика на нитках под чашки. Чашки качнулись — и встали ровно.

— Ровно, — сказал Мангольд.

— Ровно. — Скорев поставил под каждый столбик по кружке. Налил воды из кувшина — в одну, в другую, до краёв, чтобы монеты ушли в воду целиком и не касались дна.

Столбики ушли в воду.

Чашки дрогнули.

Та, на которой висели новые, — пошла вверх.

Медленно. Чуть-чуть. На волос. На ноготь. И встала. Не ровно.

Мангольд перестал дышать. Скорев это слышал: человек дышал, тяжело, с присвистом, как дышат толстые на морозе, — и перестал.

— В воде легче, — сказал Скорев. — Новые.

— Почему?

— Потому что больше. — Скорев смотрел на чашки. — Не тяжелее — больше. Толще на волос. Шире на волос. Вода выталкивает то, что больше. Если вес один, а места занимает больше, — значит, внутри то, что легче. Медь легче серебра. Чтобы вышло столько же по весу, меди надо больше по месту. На глаз не видно. Рукой — не почуешь. Зубом — тоже. А вода — видит.

Он вынул столбики из воды. Положил на лавку, мокрые.

— Меди там, — сказал он, — на глаз, на восьмую часть больше, чем в моём. Может, на седьмую. Тут весы — с рынка, для соли. На таких точнее не скажешь.

Мангольд долго смотрел на мокрые монеты.

— Где вы этому научились? — сказал он наконец. Тихо.

— На войне.

— На какой войне учат таким вещам?

— На любой. Там считают всё.

Мангольд посмотрел на него. Не сонно. Совсем не сонно. Скорев выдержал взгляд, и подумал, что вот сейчас сказал лишнее, больше, чем Ранфту про векселя, и что этот толстый человек в буром это запомнил крепче, чем запоминают долг.

За спиной, в дверях галереи, кто-то охнул.

Скорев повернулся — всем телом.

В дверях стоял брат-мирянин. С охапкой дров. Хромой, лысый, с открытым ртом. Он смотрел на весы, на кружки с водой, на мокрые монеты на нитках.

— Во славу Божию, — сказал он. — Это что ж… это вы, господин, — колдуете?

— Монету вешаю, — сказал Скорев.

— В воде? — Брат перекрестился. — Монету — в воде? Это ж ведьмы так. Ведьмы, говорят, в воду смотрят…

— Я не смотрю. Я вешаю.

Брат перекрестился ещё раз, свалил дрова у очага и ушёл, оглядываясь.

Мангольд проводил его взглядом.

— Это тоже запомнят, — сказал он. — Вы знаете?

— Знаю.

— Не делайте этого больше при людях. Здесь — Соборная свобода. Здесь консистория. Здесь за воду и нитку можно сесть надолго. — Он помолчал. — У меня, господин Скореф, весы получше. Пробирные. И человек, который умеет. Если захотите знать, на восьмую или на седьмую, — приходите. Я стою у вдовы купца Ленгерке, на Медной улице, за Ломбардским рядом. Ворота зелёные.

Он стал подниматься. Тяжело, с выдохом.

И тут Скорев сделал то, чего не собирался делать.

Он полез за пазуху. Туда, где лежал Каспаров листок, — сложенный, — и рядом, в тряпице, — она. Чёрная имперская марка. Он не знал, зачем полез. Руки сделали сами — может быть, потому, что всё равно лишнее уже сказано, и одним больше, одним меньше.

Он положил марку на лавку, рядом с мокрыми талерами.

Мангольд, наполовину вставший, — замер.

Марка была чёрная. Старая. Тяжёлая — вдвое против талера. Края стёрты. С одной стороны — что-то, чего Скорев так и не разобрал за два месяца: может быть, орёл, может быть, крест, может быть, человек, — чернь съела всё. С другой стороны — буквы по кругу, тоже съеденные.

— Вот, — сказал Скорев. — Эта — старая. Хочу и её в воду. Для сравнения.

Мангольд не ответил. Он смотрел на марку. Потом медленно сел обратно на лавку. Взял своё стекло на цепочке. Поднёс. Смотрел — долго, дольше, чем на новый талер. Не трогал руками.

— Это не монета, — сказал он.

— А что?

Мангольд поднял глаза.

— Где вы её взяли?

— Она была у меня.

— Где вы её взяли, господин Скореф?

— На войне.

— На какой?

Скорев молчал. Он не знал. Отставной солдат знал — а он не знал. Марка была зашита в подол стёганки, когда он очнулся под дождём. Отставной солдат зашил её туда — и не оставил памяти, откуда она. Память приходила по поводу — лицо, вещь, слово, — а про марку не пришло ничего. Ни разу.

— Давно, — сказал Скорев. — Не помню.

Мангольд смотрел на него ещё. Потом отложил стекло.

— Не кладите её в воду, — сказал он. — И не показывайте. Никому. — Он встал. На этот раз встал легко, как будто был не толстый. — Спрячьте туда, где держали. Я приду ещё.

— Что это, господин Мангольд?

Мангольд застегнул бурую шапку.

— Я сказал вам — я собираю монеты, — сказал он. — Это — не монета. Значит, я этого не собираю. — Он положил на лавку, рядом с цехином, ещё четыре. Жёлтых. Тонких. — Это задаток за то, что расскажете. Про новые талеры. Вы мне — что найдёте. Я вам — ещё. Сорок, если найдёте — где бит и из чего. Не из какой меди — это я и сам теперь знаю, — а из какого серебра.

Он кивнул — коротко — и пошёл. Слуги в буром пошли за ним.

У ворот он обернулся.

— И список тетради Хойзингера, — сказал он. — Если у вас есть списки. Я слышал — есть. Я бы взял. За эти же четыре.

Ворота закрылись.

Скорев сидел на лавке и смотрел на пять цехинов. Сто тридцать талеров. Больше, чем он принёс за Ильму. Больше, чем ему дала вся гильдия Кроненфельда за сорок дней и тридцать девять голов.

За один новый талер, воду, нитку — и за то, чего он не знал.

Каспар начал в тот же день, после полудня.

Он сидел в дальней комнате Пилигримова двора, у окна, за столом, который брат-мирянин дал за два крейцера в неделю, и перед ним лежали: бумага — плотная, старая, желтоватая, купленная утром в лавке у собора, за дорого, «у них такая же, экселенц, гербштадтская, я по знаку смотрел», — чернила в глиняной бутылке, тоже гербштадтские, по крейцеру, — три пера, нож, песок. И — его собственные записки. Не подлинник: подлинник лежал в костнице за седьмым и восьмым черепом. Но Каспар в Кроненфельде переписывал тетрадь расчётов Хойзингера дважды — для подделки и для себя, — и вторая, для себя, была при нём. Список с тетради. Слово в слово. Цифра в цифру.

— Три, — сказал Каспар. — Три списка. Рукой Кремпа. Как подлинник. Каждый — чтобы мог сойти за подлинник, если не знать.

— Зачем рукой Кремпа?

— Затем, экселенц, что список моей рукой — это список. Его купят за двадцать. А рукой Кремпа — это почти подлинник. За него дадут сто пятьдесят. — Каспар обмакнул перо. —

Только мы продаём — как список. Честно. Говорим: список. А что рука Кремпа — так это, говорим, писарь у нас так пишет, руку набил. Покупатель сам решит, сколько это стоит.

— А зачем три одинаковых?

Каспар поднял голову. Круглые светлые глаза блеснули.

— А они не одинаковые, экселенц.

Он положил перед Скоревым свой список и ткнул пальцем в строку.

— Вот. Помните, в Кроненфельде, когда Кремп пришёл к нам ночью, я ему показал подделку, а он ткнул пальцем: поташ за август, у Штейнова брода, — не так. Он помнил эту строку. Он сам её писал.

— Помню.

— Вот эту строку, — сказал Каспар, — я в каждом списке напишу по-своему. Цифру. В одном — девятнадцать бочек. В другом — двадцать одна. В третьем — семнадцать. Всё остальное — слово в слово. А эта — разная. — Он положил перо. — Мы продадим один — Мангольду. Один — Бельканти. Один — отдадим официалу, по приказу, со всем, что при вас. И кто из троих понесёт свой список дальше — тому, кому не надо, — того мы узнаем по цифре. Если когда-нибудь где-нибудь кто-нибудь скажет: «поташ за август у Штейнова брода — двадцать одна бочка», — мы будем знать, через чьи руки это шло.

Скорев смотрел на него.

В той жизни этому учили. Он помнил — не книгу, не урок, а человека в штатском, который объяснял им, молодым, на сборах, как ловят того, кто сливает: каждому — свой текст, с одной разницей. Этому учили, и это называлось как-то, и он забыл как.

Каспар пришёл к этому сам. Двенадцать лет при суде в Гербштадте.

— Каждому — по подлиннику, — сказал Каспар и улыбнулся.

— Каждому — по списку, — поправил Скорев.

— Это одно и то же, экселенц. Подлинник — это то, во что верят. Я двенадцать лет видел, как люди верят бумаге, которую держат в руках. Чем дороже заплатили — тем крепче верят.

Он писал до вечера. Скорев заходил дважды и смотрел. Каспар писал не так, как пишут, — так, как рисуют: наклонялся, смотрел на свой список, смотрел на лист, — и выводил букву, медленно, с хвостом у «д», с петлёй у «в». Перо скрипело ровно. Строка за строкой. Цифра за цифрой.

Когда стемнело, он зажёг свечу и писал при свече.

В углу той же комнаты, на тюфяке, сидел Штиль. Его больше не связывали — от Ранфта Скорев вернулся с грамотой, где Штиль был записан свидетелем «при арестанте», и держать свидетеля связанным в Пилигримовом дворе, на виду у братьев, было незачем. Штиль сидел на тюфяке, в своей лисьей шубе, и смотрел, как пишет Каспар. Смотрел, как смотрит писарь на писаря: с завистью и со страхом.

— Хорошая рука, — сказал он однажды. Тихо.

— Чужая, — сказал Каспар, не поднимая головы.

— Я Кремпа знал, — сказал Штиль. — Видел его руку. В Фогтее, на бумагах. Вы пишете лучше, чем он.

— Он под конец пил, — сказал Каспар. — Когда пьёшь — рука дрожит. У меня не дрожит.

Штиль помолчал.

— А почему цифры разные? — спросил он. — Вы в одном написали девятнадцать. А тут — семнадцать.

Каспар перестал писать. Поднял голову и посмотрел на Штиля. Ласково. Как смотрел в Кроненфельде, когда спрашивал Штиля про жалованье роты.

— Ошибся, — сказал он. — Устал. Спасибо, что заметили. Поправлю.

И не поправил.

Третий список — тот, где семнадцать, — Каспар дописал за полночь, при Штиле. Присыпал песком. Сдул. Подержал над свечой — не близко, чтобы бумага чуть пожелтела по краю, — и сложил.

Штиль смотрел.

Утром третьего дня Скорев понёс второй список в Ломбардский ряд.

Шёл один — с Каспаром, но Каспар остался внизу, у прилавка, где писцы щёлкали медными кружками по линиям. Наверх Скорева проводил Ланца — тот же, тёмный, с бородкой, с пером за ухом, ласковый.

— Его милость ждали вас, — сказал Ланца на лестнице. — Не так скоро. Но ждали.

— Его милость не ошибается?

— Его милость ошибается, — сказал Ланца, — но редко и задорого. — Он улыбнулся. — Это его слова. Я только повторяю.

Бельканти сидел за тем же столом, у того же окна с зелёным светом, с тем же стаканом горячей воды.

Скорев положил перед ним список.

Бельканти не стал брать. Он посмотрел — так же, как Мангольд, наклонившись, только без стекла, — на первую страницу. На руку.

— Кремп, — сказал он.

— Список, — сказал Скорев. — Рукой Кремпа. Мой писарь руку набил. Слово в слово с подлинником.

— Список, — повторил Бельканти. Он перевернул страницу длинным смуглым ногтем. Ещё одну. — Хорошая рука. Фабио говорил: у вас писарь, который читает чужие бумаги лучше, чем их писали. Он не говорил, что ваш писарь их ещё и пишет.

— Пишет.

— Это опасно, господин Скореф. — Бельканти перевернул ещё страницу. — Писарь, который пишет чужой рукой, — как нож без рукояти. Режет того, кто держит. — Он дошёл до какой-то строки и задержался. Скорев не видел — какой. — Сколько?

— Подлинник — двести. Вы сказали.

— Я сказал.

— Список — сто пятьдесят.

— За список? — Бельканти поднял маслины глаз. — За список платят двадцать. Тридцать — за хорошую руку.

— За этот список, — сказал Скорев, — платят сто пятьдесят. Потому что подлинник лежит там, где лежит, и, может быть, никогда оттуда не выйдет. А список — вот он. И из него видно всё, что видно из подлинника. Чьи деньги ходили через дом Хойзингера. Сколько. Когда. Всё, кроме одного: подписей Мерка на разворотах. Подписи вам нужны для суда. Для того, чтобы знать, — подписи не нужны.

Бельканти помолчал.

— Вы говорили, — сказал Скорев, — вам нужна не правда. Вам нужна бумага, на которой правда написана. Вот — бумага.

— Не та бумага.

— Почти та. Та будет потом. Если договоримся.

Бельканти взял стакан, отпил горячей воды. Поставил.

— Сто пятьдесят, — сказал он. — Пьетро, отсчитай. Старыми. Полновесными. — Он посмотрел на Скорева. — Вы не просите новыми?

— Новые у меня есть.

— Я знаю, что есть, — сказал Бельканти. — Тридцать пять. Минус один — который вчера ушёл к Мангольду. Тридцать четыре.

Скорев не шевельнулся.

— Вы хорошо считаете, ваша милость, — сказал он ровно. — Чужие деньги.

— Я ничего другого не умею, — сказал Бельканти.

Он улыбнулся — быстро — и перестал.

— Мангольд вчера был у вас, — сказал он. — На Медной улице у вдовы Ленгерке стоит. Я знаю, где он стоит, потому что я сдаю ему деньги по векселям из Аренсберга. Он торговый человек. Сукно, воск. — Он помолчал. — И монеты. Он любит монеты.

— Он говорил.

— Он не говорил вам, для кого он их любит?

— Нет.

— Спросите, — сказал Бельканти. — Когда-нибудь. — Он кивнул Ланце. — Пьетро.

Ланца отсчитывал серебро на углу стола, столбиками по десять. Скорев смотрел, как растут столбики — пятнадцать столбиков, — и думал, что Бельканти знает про Мангольда, Мангольд знает про Бельканти, а оба знают про него больше, чем он про них.

«Он знает про Мангольда, — подумал он. — Вчерашнее. Мангольд был у меня утром, при мне и при брате с дровами. А к полудню следующего дня это знает меняла. Откуда?»

Он взял серебро. Пересыпал в мешочек, который дал Ланца. Пересчитывать не стал: это был Бельканти, а у Бельканти не обсчитывают — у Бельканти обманывают по-другому.

— Подлинник, — сказал Бельканти, когда Скорев уже стоял. — Когда решите. Двести. И ещё пятьдесят — если принесёте целым. Со всеми подписями Мерка, на каждом развороте.

— Подумаю.

— Подумайте. — Бельканти взял стакан. — До Сретения, господин Скореф. На Сретение у меня другие дела.

На лестнице Ланца, провожая, сказал тихо, не оборачиваясь:

— Его милость редко покупает списки. Очень редко. Вы ему понравились.

— Это плохо?

— Это дорого, — сказал Ланца. — Его милости всё, что нравится, обходится дорого. Он потом берёт своё. — Он открыл нижнюю дверь. — С Богом, господин Скореф. До встречи.

Скорев посмотрел на него — тёмного, с бородкой, с пером за ухом.

Он не знал, что видит его в последний раз.

Третий список — тот, где семнадцать, — он отнёс Ранфту сам, в тот же день, перед вечерней.

Ранфт сидел за столом. Писал. Не поднял головы, пока не дописал строку.

Потом взял список. Посмотрел. Перевернул страницу. Ещё одну.

— Это список, — сказал он.

— Список. Из того, что при мне. Со всем, что при нём, — сказано в приказе. Что при мне — то и отдаю. Подлинник — к Сретению.

— Рукой Кремпа.

— Писарь у меня руку набил.

Ранфт поднял на него серые глаза.

— Я видел, — сказал он. — В тех списках, что при вас нашёл капитан, — рука другая. Каспарова. А тут — Кремпова. Значит, ваш писарь пишет двумя руками. А может, и больше.

— Может, — сказал Скорев.

Ранфт положил список в стопку, к делу о двадцати девяти. К дощечке Губерта.

— Что вы хотите за это? — спросил он.

— Ходить по городу без капитана Кранца за спиной. Кранц хороший человек. Но мне от него тесно.

Ранфт подумал.

— Хорошо, — сказал он. — Капитан за вами ходить не будет. Ходить будут другие. Тех вы не увидите. Так вам будет просторнее?

— Так мне будет честнее, — сказал Скорев.

Ранфт смотрел на него. Потом — впервые за все их разговоры — что-то сделал с лицом. Не улыбнулся. Как будто улыбнулся там, внутри, где Скореву не видно.

— Идите, господин именующий себя, — сказал он. — До Сретения тридцать дней.

Наёмных брали на Соляном рынке, за полдень, когда на рынке становилось пусто.

Ландскнехты без контракта зимовали в Штальберге, как зимуют вороны в деревне: держались вместе, сидели по корчмам у рынка, пили в долг и ждали весны, когда начнут набирать. Их было десятка три. Кто был без руки, кто — без ноги, кто — без зубов, кто — без всего, кроме меча и сапог. Скорев смотрел на них из угла корчмы «У меры», где они сидели, и думал, что сорок дней назад он так же смотрел на кроненфельдских — и брал тех, кто хуже.

Теперь у него было сто пятьдесят полновесных и пять цехинов. Теперь он мог брать тех, кто лучше.

Клещ сидел рядом, на лавке, и смотрел тоже.

— Трёх талеров на две недели, — сказал Скорев. — Харчи наши. Кто пойдёт?

Пошли многие. Скорев смотрел на каждого. Велел показать, как держат меч. Как держат арбалет. Велел каждому пройти от двери до стены и обратно — смотрел, как идут, кто хромает, кто нет. Спрашивал, где был. Слушал не то, что говорят, а как.

Взял шестерых.

Рюдигера — большого, медленного, с руками как лопаты, пикинёра, который на вопрос «где был» сказал «везде» и больше ничего. Лотара — старого, седого, сухого арбалетчика, у которого на ложе было столько зарубок, что ложе стало похоже на напильник; Ханс посмотрел на это ложе с уважением. Кнута — рыжего, северного, с топором на длинной рукояти, который говорил медленно и с чужим выговором. Йорга, по прозвищу Беззубый, — болтливого, вертлявого, с ножом в каждом сапоге и без единого зуба во рту. Вальтера — молодого, быстрого, тонкого, у которого всё в руках горело. И Эвальда.

Эвальд был лет тридцати пяти, среднего роста, крепкий, опрятный. Бритый — чисто, как будто брился каждое утро, а среди ландскнехтов, зимующих в корчме, это было как ходить в шёлке. Одежда старая, но целая, заштопанная ровными стежками. Меч — простой, но ухоженный. Когда Скорев велел ему показать, как держит, — Эвальд показал, и показал правильно. Всё правильно: хват, стойку, шаг. Так, как учат хорошие учителя.

— Где был? — спросил Скорев.

— У де Мортенов, — сказал Эвальд. — В пешей роте. Потом — у разных.

— Пьёшь?

— Нет.

— Играешь?

— Нет.

— А что делаешь?

— Служу, — сказал Эвальд. — Когда платят.

Скорев смотрел на него ещё. Эвальд смотрел в ответ — спокойно, прямо, без того заискивания, с каким смотрят безработные, и без той наглости, с какой смотрят те, кто знает себе цену.

— Беру, — сказал Скорев.

Когда шестеро ушли за своими мешками, Клещ сказал, не поворачивая головы:

— Этот — слишком хорош для трёх талеров.

— Который?

— Бритый. Эвальд. — Клещ смотрел в стол. — Такие за три талера не служат. Такие служат за пять. И не сидят в корчме «У меры», ждут, пока позовут. Таких зовут сами.

— Хорошие нам и нужны, — сказал Скорев.

— Хорошие — да, — сказал Клещ. — А этот — слишком.

Скорев подумал. Он подумал о сжатии — и сжатия не было. Эвальд стоял перед ним, показывал хват — и не сжимало ничего.

— Сжатия нет, — сказал он.

Клещ посмотрел на него. Долго. Как смотрел тогда, в Кроненфельде, когда сказал «ты не Виктор».

— У тебя, — сказал Клещ медленно, — сжатия не было и на тех двоих. В переулке. В плащах.

Скорев промолчал.

— Я не говорю, — сказал Клещ. — Я так. Вслух думаю. Старый стал. — Он взял костыль. — Пошли. Шестерых кормить — это не двенадцать. Это восемнадцать. Плюс собака.

Ланцу нашли утром.

Скорев узнал от Пауля, а Пауль — от синих у Речных ворот, которые, как всегда, его не запомнили и, как всегда, болтали при нём, будто его нет. Ночью на реке, у мытни, где лёд у берега толстый, а дальше — тонкий, к полынье, — нашли человека. Вмёрз лицом в лёд у самой кромки. Вырубали топорами. Синий плащ, бородка, перо за ухом — перо так и осталось за ухом, вмёрзшее.

Приказчик менялы Бельканти.

А во рту у него, когда разжали зубы, — монета.

Новая. Без единой царапины. Лев с поднятым хвостом.

Скорев пошёл смотреть. Сам. Без Кранца — Кранц за ним больше не ходил. Ходили другие — он их не видел, как и обещал Ранфт, — и он шёл через город вниз, к реке, к Речным воротам, и чувствовал спиной, что за ним идут, и не оборачивался — шея не поворачивалась.

На мытне, у реки, стояла толпа.

Мытня тут была своя — не такая, как в Мостовом: деревянный дом на сваях, у самого берега, с причалом, с цепью поперёк протоки, которую на ночь натягивали, чтобы лодки не уходили без пошлины. На доме — ключ, на флаге — ключ. Мытник — пожилой, толстый, в тулупе, с лицом, красным от мороза и от вина, — стоял над телом и говорил людям: расходитесь. Люди не расходились.

Ланца лежал на досках причала. Лицо белое, в инее. Глаза открыты. Перо за ухом.

Монету уже вынули. Мытник держал её в кулаке.

— Покажи, — сказал Скорев.

Мытник посмотрел на него. На руку. На шкуру.

— А ты кто?

— Тот, кто дал сторожу на Ильме такую же.

Мытник подумал. Разжал кулак.

Лев. Хвост вверх. «Вольфганг, граф Дальхаймский». Насечка — свежая.

— Реберовы, — сказал кто-то в толпе. — Амтмановы. Они ж новыми платят. Это знак: кто против амтмана — тому монету в рот.

— Реберовы, — повторили в толпе. — Те, что на соляном дворе стоят.

Скорев смотрел на монету.

Реберовы платят новыми. Это правда. Шмальц был Реберов — у Шмальца в поясе нашли четыре новых.

Но Реберовы — это Корнель. Корнель, который шепелявит без передних зубов и бежит, когда видит нож у своего горла. Корнель не стал бы класть в рот приказчику менялы монету, по которой его самого найдут. Корнель бы взял монету себе.

«Это не Корнель, — подумал Скорев. — Это не мне. И не городу. Это — Бельканти».

Знак. Тому, кто поймёт. «Не лезь».

Во что — не лезь?

Бельканти купил вчера список тетради Хойзингера. Через Ланцу. Ланца отсчитывал серебро. Ланца провожал. Ланца сказал: до встречи.

И Ланцу нашли вмёрзшим в лёд с новой монетой во рту.

— Новые в епископской земле не ходят, — сказал Скорев вслух, сам не зная кому.

Мытник посмотрел на него.

— А эта — пришла, — сказал мытник. — Вот. Пришла.

Вечером к Пилигримову двору пришёл человек от Бельканти.

Не Ланца — другой. Высокий, худой, смуглый, с длинным лицом, с усами, закрученными вверх, в тёмно-синем плаще — тёмно-синем, хорошем, из толстой лигуртийской шерсти, какой Скорев в Штальберге ещё не видел ни на ком. Он стоял в воротах, не заходя, и смотрел на двор так, как смотрят на скотный двор.

— Гвидо Ченчи, — сказал он. — Фактор его милости. Вместо Пьетро.

— Быстро вместо, — сказал Скорев.

— У его милости всё быстро. — Ченчи не улыбнулся. — Его милость просит передать. Сделка остаётся в силе. Двести — за подлинник. Пятьдесят — если подлинник целый.

— Это всё?

— И ещё его милость просит, — сказал Ченчи, — чтобы вы больше не носили новых талеров в Ломбардский ряд. Ни в карманах, ни в поясе. Ни одного.

— Почему?

Ченчи посмотрел на него сверху — он был выше на голову.

— Его милость сказал, — сказал Ченчи, — вы поймёте.

И ушёл, запахнув синий плащ.

Скорев стоял в воротах.

Он не понял. Он понимал только одно: в Штальберге за неделю убили двоих, и у обоих была новая монета. У одного — взяли. Другому — положили. И тот, кто взял, и тот, кто положил, хотел одного: чтобы про новую монету не говорили.

А он про неё говорил. Он её взвешивал в воде, при свидетеле. Он её продал за цехин. Он её носил в поясе.

Сжатия не было.

«Значит, меня это не касается, — подумал он. — Значит, меня — берегут. Пока».

Он пошёл в дом.

В дальней комнате Каспар сидел над своими записками и что-то считал. Штиль спал на тюфяке, отвернувшись к стене, в лисьей шубе.

— Каспар, — сказал Скорев.

— Да, экселенц.

— Тот список, что у Бельканти. Сколько там бочек? За август. У Штейнова брода.

— Двадцать одна, — сказал Каспар сразу.

— У Мангольда?

— Девятнадцать. Мангольду я отдам завтра, он прислал слугу.

— У Ранфта?

— Семнадцать.

Скорев постоял.

— Запиши, — сказал он. — Где-нибудь, где никто не найдёт.

— Я записал, — сказал Каспар и постучал пальцем по лбу. — Здесь. Здесь никто не найдёт.

Штиль на тюфяке не шевелился.

Он спал. Или делал вид.

Глава шестая. Без имени

Они пришли в Пилигримов двор на исходе четвёртого дня нового года, в сумерках, с серым мулом в поводу.

Скорев увидел их с галереи. Трое. Один — в монашеской рясе, подоткнутой под пояс, в чужом тулупе поверх, с рукой, замотанной грязным холстом, — вёл мула. Второй — плотный, низкий, с широким лицом, в овчине — шёл сзади, с ломом на плече, как ходят с посохом. Третий шёл между ними. Высокий, худой, в сером, в шапке, надвинутой низко. Шёл неровно: на одну ногу ступал твёрдо, на другую — бережно. И руку одну держал ближе к телу, чем другую.

Брат-мирянин заковылял к воротам — во славу Божию, кто, откуда, — и монах сказал ему что-то, и подал бумагу. Брат посмотрел на бумагу, на печать, и перекрестился, и замахал рукой: сюда, сюда.

Скорев сошёл с галереи.

Монах обернулся на звук шагов. Лицо у него было худое, обветренное, с ввалившимися щеками, с отросшей тонзурой, — и Скорев узнал его раньше, чем подумал.

Ансельм.

Ансельм смотрел на него. На руку в тряпке. На шов через щёку. На ухо без верхнего края. На горжет. На волчью шкуру. Смотрел долго — и лицо у него сделалось такое, какое бывает у лекаря, когда он смотрит на больного и считает, что ещё можно спасти, а что нельзя.

— Господи, — сказал Ансельм. — Господин Скореф. Что они с вами сделали.

— Что смогли, — сказал Скорев. — Ты как здесь?

— Консистория. Велено к Сретению. Свидетелями. — Ансельм оглянулся на тех двоих. — Мне и двоим из двадцати девяти.

Скорев посмотрел на тех двоих.

Плотный, низкий, с ломом — Юрген. Скорев его помнил: в Мариенхофе, у барака, Юрген смотрел на него исподлобья и долго решал, прежде чем сказать про перстень. Юрген и сейчас смотрел исподлобья.

А высокий, худой…

Высокий стоял чуть в стороне, у мула, и не смотрел ни на кого. Лицо — серое, бритое, обветренное. Светлые брови. Светлые волосы из-под шапки. Глаза — тоже светлые, серые, и пустые, как окна в доме, где никто не живёт. Он стоял, держа левую руку у живота, — левая была та, нездоровая: кисть висела немного не так, как должна висеть, — пальцы были согнуты и не разгибались.

На правой руке, на среднем пальце, было кольцо. Железное. Простое. Тёмное.

Скорев знал это кольцо. Он носил его на этом самом пальце, когда очнулся под дождём в канаве у Вельде. Он отдал его в бараке на просеке — за перстень с кабаньей головой, золотой. Золотой отнимут, сказал тогда этот человек. А железный не возьмут. Железный ничей.

— Здравствуй, — сказал Скорев.

Безымянный посмотрел на него. Кивнул. Не сказал ничего.

Ансельм сказал, когда сели в дальней комнате, у очага. Сказал про ночь на Невинных младенцев. Сказал ровно, тихо, по порядку, как говорил на просеке, когда записывал показания: кто, когда, сколько, чем. Шестеро в шкурах. Брат Ремберт у ворот. Брат Отфрид со свечой. Длинный дом. Кривой с листом. Двадцать два имени — отойди вправо. Шестеро без имён — у стены. Слева направо.

Старик Эберхард. Петер шестнадцати лет. Двое, которых никто не понимал. Колода. Тот, что лежал с осени.

— Восемь, — сказал Ансельм. — Шестеро наших и двое братьев. И брат Зебальд умер той ночью — сам, от груди. Его не считают.

Скорев слушал.

Каспар стоял у окна. Каспар слушал тоже. Скорев не видел его лица — шея не поворачивалась, а Каспар стоял сзади, — но слышал, как он дышит.

— За ним приходили, — сказал Ансельм. — За ним. — Он не кивнул на Безымянного — тот сидел в углу, на полу, у стены, обхватив колени здоровой рукой, и смотрел в огонь. — Кривой так и сказал: седьмой где? Светлый, худой, с ногой. Они знали, кого ищут. Они не знали только — который.

— Поэтому всех, — сказал Скорев.

— Поэтому всех, — сказал Ансельм. — Кто не назвался.

В комнате было тихо. Огонь трещал.

Потом Каспар сказал от окна. Тихо, не своим голосом — Скорев ни разу за три месяца не слышал у Каспара такого голоса:

— Людская тетрадь.

Скорев молчал.

— Я её переписал, экселенц, — сказал Каспар. — Целиком. В Кроненфельде. Слово в слово. Кроме одной строки — про Мерка, она в расчётах, а не в людской. Людскую — всю. — Он помолчал. — И «принят один, именем не назвался» — тоже. И без отметки. Как в подлиннике. Чтобы мелочи сходились. Подделку ловят на мелочах.

— Знаю.

— Подделка ушла в Фогтей. Через Липпольда. Через Мерка. — Каспар говорил медленно, как будто складывал. — Они её читали. Кто-то её читал. И посчитал. Так, как я посчитал. И не сошлось на одного. И нашёл строку.

— Да.

— Это я им сказал, — сказал Каспар. — Моя рука. Моя бумага.

Скорев повернулся — всем телом — и посмотрел на него.

Каспар стоял у окна, маленький, сутулый, в своём кожухе, и лицо у него было белое, и круглые светлые глаза смотрели не на Скорева — в пол.

— Ты переписал, — сказал Скорев. — Я велел. Я велел переписать всё, кроме одной строки, — чтобы поверили. Они поверили. — Он помолчал. — Я на взгорке за Ильмой сказал себе: сказать — значит убить. Значит, молчать. До весны. Я молчал. А бумага — сказала.

— Моя бумага.

— Наша, — сказал Скорев. — Бумага была наша. Мы её делали, чтобы убить Мерка. Она убила Мерка. А потом пошла дальше — сама. Бумага не спрашивает, куда ей идти.

Каспар ничего не ответил.

В углу, у стены, Безымянный смотрел в огонь. Он не поднял головы. Ни разу за весь разговор.

Ансельм развязал свою суму и достал глиняный горшочек, заткнутый тряпкой.

— Руку, — сказал он.

— Клещ прижёг.

— Клещ прижёг, — сказал Ансельм. — Я посмотрю, как Клещ прижёг.

Скорев размотал тряпку. Ансельм смотрел на обрубки. Трогал — осторожно, кончиками пальцев, вокруг, не касаясь самих культей. Нюхал. Скорев видел, как он нюхает, и знал зачем: гниль пахнет раньше, чем видна.

— Не гниёт, — сказал Ансельм. — Чисто. Клещ — хороший лекарь.

— Клещ — плохой лекарь, — сказал Клещ от двери. Он стоял там уже давно. — Клещ — хороший солдат. Солдаты это умеют лучше лекарей. Лекари жалеют.

Ансельм открыл горшочек. Мазь была та же — Скорев узнал запах: дёготь, воск и что-то горькое, — та самая, что Ансельм прислал ему в Кроненфельд: для руки, и для чего ещё будет.

Вот и было.

Ансельм мазал. Мазь жгла. Скорев сидел и смотрел, как жжёт, — на культи, на три пальца, на то, что осталось от левой руки, — и думал о другом.

Он думал о том, что ландфогт знает. Не всё. Не имя. Не лицо. Знает, что есть один, который не назвался и не снесён. И знает, кем этот один может быть. Иначе не послал бы шестерых в Мариенхоф резать всех без имени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.